



М. П. ПОГОДИН



ПОВЕСТИ
ДРАМА



Михаил Петрович Погодин

Невеста на ярмарке

В. Г. Белинский так характеризовал эту повесть: «„Невеста на ярмарке“ есть как будто вторая часть „Черной немочи“, как будто вторая галерея картин в Теньеровом роде картин, беспрерывно восходящих через все степени низшей общественной жизни и тотчас прерывающихся, когда дело доходит до жизни цивилизованной или возвышенной».

Содержание

| | |
|----------------------|-------|
| Часть I | .0005 |
| Часть II | .0089 |
| ПИСЬМО I | .0089 |
| ПИСЬМО II | .0095 |
| ПИСЬМО III | .0103 |
| ПИСЬМО IV | .0107 |
| ПИСЬМО V | .0115 |
| ПИСЬМО VI | .0120 |
| ПИСЬМО VII | .0129 |
| ПРИМЕЧАНИЯ | .0140 |

Михаил Петрович Погодин

Невеста на ярмарке

Часть I

— Ванька, Ванька! оглох, что ли, ты, болван? Рано еще! — Вели Федьке в три часа закладывать шестеркою колымагу, четыремя в ряд, — да вымазать хорошенько колеса: их ведь не мазали, чай, с прошлого года, — сбрую осмотреть, — про запас взять веревок побольше: дорога не близкая, — фалетором ехать Павлушке, — одежду кучерскую и лакейскую возьми у Емельяновны с рук на руки, отвечать будешь. Наденьте сапоги, полно босиком таскаться; они тоже у Емельяновны. Да по сколько лошадям давали овса прошедшую неделю?

— По два гарнца[1], сударыня.

— Подобрели ли они теперь?

— Все по-прежнему, сударыня.

— Как все по-прежнему? Стало, плут Федька воровал себе по гарнцу?

— Никак нет, сударыня. Он задавал корму при Емельяновне.

— А ты заодно, что ли, с ним? еще заступаешься! — Смотри, в пять часов, помолясь, мы отправимся: чтоб все было исправно! на тебе

спросится.

— Воля ваша, сударыня.

— Ну то-то же, болван, помни: воля моя. Да что это за шум на дворе? Кто-то приехал; сбегай, узнай...

Неуклюжий Ванька, лет в пятьдесят, подстриженный в кружок, в сермяжном зипуне, босиком, не успел поворотиться и отойти на три шага, как двери со скрыпом и шумом растворились, едва удержавшись на перержавых петлях, и раздался звонкий голос приехавшей гостьи.

— Здравствуйте, матушка Анна Михайловна! Вот и еще привел меня бог свидеться с вами. По добру ли, по здорову ли вы поживаете? — Да уж не в дорогу ли собираетесь какую?

— Ах, Прасковья Филатьевна, Прасковья Филатьевна! тебя ли в живых вижу? Сколько лет, сколько зим мы не видались! Подлинно справедлива пословица: гора с горой не сойдется, а человек с человеком сойдется. Откуда, мать моя? Какой ветер занес тебя на нашу сторону?

— Разнемоглась на дороге, родная: через

день лихорадка трясет; так я и вздумала захватить к вам и переждать, пока кинет меня лихая. Мочи нет, да и только. К тому же давно и повидаться с вами мне больно хотелось.

— Милости просим! Милости просим! Что и говорить: старый друг лучше новых двух. Ванька! поставь самовар да сходи за барышнями; скажи, чтоб, управлясь, сошли скорее вниз: к барыне-де приехала дорогая гостья. — Пойдем, свет мой, в образную. Да, воротись, Ванька, — вели попу прийти уже перед вечернями: надо пропеть путевой молебен. — Ну, Прасковья Филатьевна, ни думала, ни гадала я тебя. Нечаянная гостья! — Недаром вчера мы все гасили свечи, снимая, да и ночью привиделось мне, что около меня ластилась какая-то собака, как вдруг из лесу выскочила пегая лошадь... Пойдем же ко мне сюда.

— Расскажи-ка мне, матушка, про свое житье-бытье, — сказала гостья, расположась с хозяйкою в образной на софе, — ведь только что вы вышли за Петра Михеича, как я с первым мужем еще уехала из Спасска. — У нас через два года после француза были ездоки из вашего города и сказывали, что на вашем до-

му благословение господнее почивало.

— Много воды притекало, Прасковья Филатьевна, да много и утекло. Житье мое теперь вдовье, самое плохое, горемычное; недаром говорят, что победная трава в поле — горох да репа, а в мире — вдова да девка. — Охма! Некогда мне рассказать тебе ничего путем.

— Да расскажите мне хоть что-нибудь. Как мне уехать от вас без всякого известия? Я так люблю вас сызмальства. — Хоть что-нибудь!

— Ну, делать нечего — открою другу всю подноготную: вышла я замуж за Петра Михеича, знаешь ты сама, по шестнадцатому году. Приданое ему принесла порядочное: матушка всю свою жизнь копила и отпустила дочку, грех пожаловаться, честно. — Петр Михеич имел сам капиталец и служил в суде секретарем. Мне сродни был губернаторский камердин, и мужа моего сделали судьей. — Тут-то пожили мы припеваючи. Бывало, всякий день принесет домой, голубчик мой, — дай бог ему царство небесное, покойное место, — либо красненькую, либо синенькую[2].

— Что и говорить, — вставила свое слово гостя, — Петр Михеич делец был, все честь

отдавали, первый в городе.

— Уж какой делец-то: рассудит всякое дело, бывало, начисто, а себя не забудет: и с правого возьмет, и с виноватого — с правого магарыч да за хлопоты, а с виноватого — зачем провинился. — По праздникам, бывало, о Святой, о Рождестве, и несут, и везут нам со всего уезда, кто муки, кто крупы, кто живности, а из городских иной голову сахару, иной фунт чаю зеленого. Дом был у нас полная чаша. И какое везде почтенье отдавали нам, боле иного губернатора: в церкви мне всегда первое место, за обедом у кого в гостях — в переднем углу. А чуть кто провинится предо мною, то он, голубчик мой, такое дельце поднимет, что тот рад полдуши отдать, лишь бы отстал поскорее... Нажили мы себе хлебец насущный, нечего бога гневить, — а теперь, друг мой, все дуван взял, и куда что пошло.

— Куда же, родная?

— Бог попут... отнял бог, матушка! не знаю уж, любя ли наказал он нас или прогневаясь.

— И! — за что гневаться?

— Покойнику захотелось купить сельцо у графа Чудинова в нашем уезде, с двумя дерев-

нями. Граф промотался на лошадях да на собаках, да на итальянцах и отдавал за половинную цену. Нам на свое имя купить нельзя было: уж вышел указ, чтоб только майорского чина покупали. Прежде то ли было дело? Губернским секретарем еще Петр Михеич купил мальчиков и девочек вволю — иных за бесценок — разрослись, мои голубчики, да разродились, и дворня битком была набита. Так, видишь, он купил на чужое имя, а тот злодей теперь и оттягивает у меня после его кончины. Снимает мою головушку. Я туда-сюда, нет, ничто не в помочь без голубчика моего Петра Михеича. Только что растрачиваюсь вдосталь. Злодею сродни какой-то набольшой. Они разделят пополам наши деревеньки, да и поминай как звали... Но еще не вся беда миновалась. Где тонко, тут и рвется. На купцах было у нас тысконок двадцать. Покойник отдавал их в рост.

— Да неужли ж Петр Михеич давал без закладу? — возразила Прасковья Филатьевна.

— В том-то и беда, что без заклада, а за большие проценты: одному за двадцать, другому под нужду и за сорок. Ведь тут греха нет:

мы на шею не навязывали, сами брали. — Из них, проклятых, кто разорился, а кто обанкрутился, а иного с собаками не отыщешь. — Не платят себе, а ты хоть по миру ступай. — Не много животов осталось. Почитай, один домишко да дворовые — и тех почти уж всех распродала в рекруты — да кой-какое домашнее обзаведение. Вот, родная, открыла я тебе всю душеньку мою, только не промолвись никому об этом. Я в городе у нас себя не роняю: везде говорю, что много потеряла, да везде и намекаю, что вдвое осталось, — лошадей держу — покосец у меня есть под городом. Пущели беда, у меня три девки на руках, все на возраст, хоть за стол сажай да под венец. Они ведь из дома тащут, а не в дом. — Женихов бог не дает который уже год. Нет паренька, говорят, так не отдать за пенька.

— Не пришел час воли божней, Анна Михайловна, а суженого конем не объедешь. Потерпите, подождите.

— Ждала и терпела, матушка. Ведь старшей-то, между нами, за двадцать пять. Так уже хочу пуститься на хитрости, съездить на ярмарку, не набежит ли какой пострел. У нас

из уезда многие так-то порассовали дочек. Средняя... а, да вот и они. Рекомендую тебе, друг мой, дочек моих. Это старшая — Аграфена, середняя — Пелагея, а меньшая Аннушка. — Здоровайтесь, дочери, с Прасковьею Филатьевною. Она моя старинная знакомая и подруга; до шестнадцатого года мы жили с нею вместе, душа в душу, из одной миски щи хлебали, с одного плеча платки носили.

Между тем как новые знакомые целовались и оспрашивались, подали заиндевший самовар, полдюжины чашек с разными блюдечками и без ручек и желтый золотообрезный чайник. Приборы, видно, были уложены. Анна Михайловна насыпала бережно чаю и, налив водою, поставила чайник на самовар. Между тем Емельяновна на лежанке колола сахар щипцами. Когда чай настоялся, Анна Михайловна налила из него понемногу во все чашки, долила водою и потом дополнила чашки — кликнула Ваньку, который стал в углу с подносом, — устawiла чашки, положила сахару для прикуски и отправила оробевшего служителя, напомнив, чтоб он шел осторожно, не расплескал чашек и не разронял са-

хару.

Пред окончанием попойки, после того как два раза уже доливали самовар для сих провинциальных охотниц до чаю, горничная девушка в синем затрапезном платье с коротенькими рукавами пришла доложить, что священник в столовой.

— Все ли уложили в колымагу? Не забыли ли чего?

— Все, сударыня.

— Лошадей запрягли?

— Запрягли, сударыня, и они стоят у переднего подъезда.

— Вели попу подождать, ступайте, дочки, собирайтесь в дорогу, а я здесь оденусь. Грушенька! ты старше сестер, осмотри все в колымаге.

Подруги опять остались одни. Между тем как старая ключница, нянька и горничная, Емельяновна, надевала на свою барыню черный тафтяный салоп с коротеньким капюшоном, капор, в котором она езжала с покойным Петром Михеичем в губернию на выборы, башмаки на каблуках и пр. и за каждую вещь получала или по плухе, или по бранному сло-

ву — гостья в свою очередь рассказала хозяйке свои приключения; но мы избавляем от них читателей, представляя только главное содержание, которое понадобится нам впоследствии.

Прасковья Филатьевна, мещанского рода, подруга Анны Михайловны с самых детских лет, была выдана своим крестным отцом, каким-то судьёю, за его подчиненного подьячего, который вскоре переведен был из Спасска в губернский город, и вскоре овдовела. Там она вышла замуж за другого и осталась с малолетним сыном на руках. Быв услужлива и искательна, имея характер смиренный и согласный, она приобрела любовь и дружбу всего уезда. Со скупым барином она жаловалась на дешевизну хлеба, приискивала купцов, которые дали бы лишний рубль за четверть пшеницы; с помещиком работающим она бранила тунеядцев, которые живут на чужой счет, на счет ближнего, и доказывала текстами[3], как трудолюбие угодно господу богу. Хозяйку-старуху она учила перегонять вино чрез уголь, чтобы отнять запах, неприятный в вишневке и смородиновке, лечить все болезни зверобо-

ем, буковицей и соколиным перелетом. Ленивой барыне она объясняла картинки мод и кроила платья. Барышням подбирала тени в шелках и бисере, передавала записочки, а под веселый час рассказывала соблазнительные истории и пр., и пр. Таким образом она всю жизнь свою гостила то у того, то у другого и никому не была в тягость: все были рады доброй и смышленной Прасковье Филатьевне. — Теперь она ехала... но пока довольно.

Анна Михайловна совсем оделась и вместе с гостью вышла в гостиную, где уже дожидались ее послушные дочки с узелками на руках. — Священник отпел путевой молебен, благословил дорожных, наделил их вынутыми просфирами и по получении двугривенного отправился домой, рассуждая с причетом [4] дорогой о причинах путешествия, о скупости и прочих нравственных качествах Анны Михайловны.

Все было готово к отъезду. Челядинцы мужского и женского пола подошли с подобострастием к барыне и барышням, поцеловали у них руки и, получив наставление, как вести себя в отсутствие и чего дожидаться по воз-

вращении господ, наконец, как повиноваться Прасковье Филатьевне, пока продолжится ее болезнь, вышли на крыльцо, кроме Емельяновны.

— Присядемте ж, друзья мои, — сказала Анна Михайловна, — по нашему православному обычаю, — а ты, Емельяновна, хоть на полу! — Все уселись, посидели несколько минут, встали, помолились богу, расцеловались с Прасковьею Филатьевною, которая обещалась заехать на обратном пути, если успеет выздороветь и уедет из деревни до их возвращения, вышли к колымаге.

— Послушай, Федька, ехать осторожно, на поворотах тише; где круто, мы выходить будем; под гору колеса тормозить. Мы едем в Нижний. Где же мы остановимся?

— Да у Заботы, сударыня, — отвечал Федька, — у него всегда останавливался барин.

— Врешь, дурак! У Заботы алтынного за грош не выторгуешь. Он всегда брал лишнее с Петра Михеича. Мы остановимся на нижнем базаре у Кузьминишны. Прости, друг Прасковья Филатьевна, смотри, заезжай к нам опять, а мы не замешкаемся. — Ну, с богом!

Федька взмахнул веревочным кнутом и присвистнул... Лошадушки, выгнувши хребет и понатужа грудь, тронулись...

Без дальних приключений Анна Михайловна приехала в Нижний чрез неделю и расположилась у старинной своей знакомки. — Она начала тотчас выезжать с своим товаром на ярмарку; на третий день в модном магазине встретила она... но мне должно познакомить теперь читателей с другими героями повести и рассказать об них кое-что нужное и примечательное до этой встречи.

Бубновский, поручик одного гусарского полку, заехал также на Нижегородскую ярмарку вместе с богатым графом Звонским, коему препоручена была покупка ремонтных лошадей[5]. Граф Звонский, хотя чувствовал к лошадям дружескую привязанность, однако не знал в них толку и передал препоручение товарищу, а сам уехал в свою деревню погоняться за зайцами и по другим надобностям. — Бубновский, получив в руки кучу денег, начал... Но пусть он сам признается в грехах своих, а мне зачем быть доносчиком?

— Да что за тоска-печаль пала к вам на сердце, сударь? Третий день от вас нет ни глаза, ни послушания, — сказал ему дядька, выведенный из терпения его продолжительным молчанием, стоя перед ним в тесной их комнате.

— Не твое дело!

— Дело-то, сударь, не мое — правда ваша, — а все-таки я вам не чужой, и мне грустно стало смотреть на вас: ведь нынче у вас не было во рту ни маковой росинки, а уж к вечеру скоро зазвонят.

— Поди вон.

— Пойти-то, сударь, я пойду, да ведь вам от этого не будет легче. Ум хорошо, а два лучше, говорим мы запросто.

— Черт тебя возьми, старый враль, от тебя нельзя отвязаться ничем. Если ты хочешь знать непременно: я... проиграл...

— Уф — вот тебе, бабушка, Юрьев день! Ну что, сударь, не говорил ли я вам, что эти карты не доведут вас до добра, что можно и шесть, и десять раз выиграть, а на седьмом, на одиннадцатом разу бог попутает, и весь выигрыш пойдет как ключ ко дну? Не говори-

ла ли вам и матушка: «Эй, Феденька, на чужой каравай рот не разевай, а пораньше вставай да свой затевай»? Помните ли вы, что в пансионе поймали вас однажды за горкою[6] в бумагу, — что сказал тогда вам надзиратель? Помните ли?

*Тут ритор,
Дав волю слов теченью,
Не находил конца нравоученью...
[7]*

— Дурак! пособишь ли ты своими бреднями? Дело сделано, — сказал наконец Бубнов, глубоко вздохнув и продолжая раскуривать погасшую свою трубку.

Дементий, увидев, что словами горю в самом деле пособить нельзя, опомнился, замолчал и начал придумывать средства действительнейшие.

Несколько минут продолжалось сие печальное молчание, в продолжение коих я мог представить краткую биографию Федора Бубнового.

Этот офицер остался после отца младенцем и до десятилетнего возраста воспитывался дома, под надзором матери: мальчика кор-

мили пирогами и калачами, рядили как куколку, водили в теплых фуфайках, тешили и забавляли всякими игрушками, а прочее оставляли на волю божию. Таким образом в обществе холопей и барчонков он запасся дурными впечатлениями и приобрел многие дурные навыки. На одиннадцатом году отдали его в пансион в столицу. Феденька мой, привыкнув дома бегать по двору, лазить по голубятням и повесничать в гостях, не мог, разумеется, ретиво приняться за дело. Явились шалуны-товарищи, у которых были видны на его варенья и прочие запасы деревенские — и он с большим удовольствием согласился делить время с ними, нежели сидеть над тетрадью и книгою, и домашние семена принялись. Между тем он рос, рос и переходил из класса в класс, иногда по старшинству, иногда для комплекта.

*А иногда
Кто без греха?..[8]*

и потому, что содержатель получал от его матушки накануне экзамена *индеек малую толику*[9]. Таким образом он кончил курс

учения и вышел из пансиона с пустою головою, развратным сердцем и порядочным аттестатом. Некуда было определиться, кроме военной службы — наш Бубновский сын отчества пошел в гусары. Там нашел он себе товарищей одной масти — разом перенял от них, чего не успел еще узнать в пансионе, и начал кутить и мутить очертя голову: чрез полгода после вступления в полк никто уже не брался перепивать его — товарищи пожимали плечами, когда он, ударясь с кем-нибудь об заклад, опоражнивал бутылки; — на всяком поединке он готов был в секунданты, и беда неосторожному, кто в театре наступал ему на ногу; — на всякое лихое, отчаянное дело приглашали Бубновского, и после всякого лихого дела репутация его увеличивалась.

Этот-то молодец (так называли его в полку) проиграл казенные деньги на ярмарке и стоит теперь в забвении у холодной печки и курит погасшую трубку.

— Саблю и фуражку! — сказал он наконец отрывисто своему ментору, погруженному в глубокие размышления, коих предмет уже известен читателям.

— Куда же, сударь, вы собираетесь? — спросил Дементий, испуганный таким внезапным решением.

— Фуражку и саблю!

Дрожащею рукою подал ему Дементий фуражку и привесил саблю. Бубновы в молчании вышел из комнаты и тихими шагами пошел по улице к живому мосту[10]. Беспокойным взором следовал за ним усердный дядька до тех пор, пока он не перешел моста и не поворотил в ряды. Тогда только уверился сей добрый слугитель, что барин его не хочет топиться — уверился и пошел запить свое горе в ближайшую портерную лавочку, перед дверьми которой ожидал и манил его к себе один из новых его знакомцев.

Бубновы ходил между тем для рассеяния по ярмарке, которая действительно представляет всякому зрелище разнообразное и занимательное.

Со всех концов России съезжаются купцы в Нижний Новгород: обитатель Кяхты, Нерчинска, коренной сибиряк торгует подле купца петербургского, донской казак подле моск-

влянина, тульский оружейник подле казанского татарина или парижского комиссионера. Вся Россия присылает сюда плоды своей промышленности, кои здесь вы видите на одном месте, в порядке, обворожительном для глаз зрителя, ибо товар продают лицом, по старинной русской пословице. Здесь по берегу Оки тянется длинный ряд, в коем собраны сокровища гор Уральских от огромных чугунных изваяний до тонкой проволоки. Там блестит как жар серебро и золото в изящных изделиях, — пестреют разноцветные сафьяны, приготовленные трудолюбивою рукою татарина, некогда столь тяжелою для русских — там лоснятся пушистые меха лисьи, собольи, куньи, завоеванные дикими якутами, коряками, камчадалами на ледяных равнинах северных. — И какая смесь народов! Какое разнообразие в явлениях! Персиянин покупает кальяны у русского сидельца, таганрогский грек продает табак немцу, армянин потряхивает жемчугом против русского бородача, который швыряет миллионами по своим костяным счетам, слепой татарке подает милостыню русская баба, жид чистит сапоги у англичани-

на. Окружные крестьяне толпятся на своем рынке и тешатся на паяцев. Татары ходят ва-тагами и ищут себе работы, увязывают тюки, таскают в повозки, уставленные обозами по окрестности. — Везде многолюдство, движение, суетливость! Видно, что всякий приехал сюда на срок и спешит, окончив дела, поскорее воротиться домой. Ока и Волга покрыты необозримым множеством барок, на коих развеваются разноцветные флаги. Бурлаки, собирающиеся сюда со всего просторного побережья волжского, с криком, шумом и песнями выгружают и нагружают оные хлебом, салом, зеленым вином, солью, железом и подобными произведениями благословенного царства Русского. — Сотни харчевников, занимающих целый длинный ряд, едва успевают варить уху из животрепещущих стерлядей, жарить грибы и делать селянки для многочисленных гостей своих. В другом длинном ряду на широких покатых лотках лежит видимо-невидимо хлебов пшеничных и ситных... И все это потребляется ежедневно!

Бубновый смотрел, разумеется, на все слепыми глазами. Сердце его не радовалось на

успехи промышленности, он не думал о народном богатстве, ни о влиянии его на просвещение — и ходил по рядам с таким же равнодушием, с каким курил трубку или тасовал карты, играя по малой цене.

В таком расположении духа зашел он в модную лавку купить стклянку Eau de Cologne от головной боли. В лавке были четыре дамы: мать с тремя дочерьми. Старуха говорила что-то очень громко с мадамою, но увидев вошедшего офицера, остановилась на половине своей речи, всунула в руки ей деньги и поспешила оставить магазин, как бы совестясь торговаться пред незнакомцем. Ему также недолго было рассчитываться, и он вышел вскоре после дам, кои стояли еще за дверьми, имея по доброй ноше узлов и картонов у себя на руках, в каком-то недоумении.

— Каков же Ванька! До сих пор его нет; ведь не без чего приказывали вернуться поскорее. Прошу идти теперь с ношами до экипажа.

— Позвольте мне облегчить вас, — сказал наш учтивец по какому-то инстинкту.

— Помилуйте, батюшко, да мы не знакомы

с вами, не имеем чести...

— Для меня приятно, сударыня, оказать вам такую маловажную услугу... — и Анна Михайловна не успела (читатели, верно, узнали ее) проговорить нового извинения, как половина узлов была уже на руках у Бубнового.

Вот на чем мы остановились прежде; теперь и станем продолжать рассказ:

— Какие вы добрые, батюшко, и учтивые, — сказала старушка, уступив его желанию и отправясь в сопровождении его к своему экипажу очень веселая, думая про себя: «На ловца и зверь бежит». — Уж верно в гвардии служите?

— Я служу в гусарском... полку.

— А в Нижний изволили приехать по своим надобностям?

— По казенному препоручению, сударыня. Между тем они прошли уже почти все ряды.

— И долго останетесь позабавиться ярмаркою?

— Я сам не знаю еще — смотря по тому, как позволят дела мои.

— Мы очень рады вашему знакомству и нам было бы приятно... ну где ты, болван, шатался? барыня с барышнями осталась одна; смотри! — извините, батюшко, — и нам было бы приятно поблагодарить вас у себя на дому.

— Если вы позволите, я буду иметь честь... где вы живете, сударыня?

— С моста налево, третий дом от колокольни, у мещанки Перепелкиной, ребятишки укажут...

— С большим удовольствием я воспользуюсь первым случаем...

— Мы будем ожидать вас.

Между тем подошли к колымаге; Бубновский посадил в нее дам и машинально пошел бродить по городу; вскоре очутился он в кремле. Там сел он на скамейку и начал думать то о проигрыше, то о нечаянной своей встрече.

Солнце уже закатилось, народ расходился по домам с ярмарки. Глухой невнятный шум отзывался в воздухе — вдали, в рядах, начали уже засвечаться огни — над водою поднимался пар, но все еще виден был рубец между Окою и Волгою, показывающий, что сии две широкие реки, соединясь, не сливаются вод сво-

их, враждуют как будто между собою и долго, долго еще после соединения текут только рядом, а не вместе, как... иные союзи.

— Да где вы запропалились, сударь, я ждал-ждал и из терпения вышел: ищу вас по всему городу, — закричал кто-то ему издали.

— Что такое сделалось, Дементий?

— Чудеса, сударь, чудеса. Пойдемте-ка домой. Я расскажу вам все по порядку!

— Говори здесь — разве не все равно, — отвечал равнодушно барин.

— Вам надо жениться.

— А где невесты?

— Целый короб с невестами привезли третьего дня на ярмарку, их выгрузили к соседке, двор обо двор с нами.

— А по сколько за ними? есть ли на что купить лошадей?

— На целый эскадрон, если хотите — хоть сами заведите конный завод. У матери денег куры не клюют.

Кто утопает, тот и за щепку готов ухватиться на море: полученная весть блеснула звездою надежды в глазах отчаянного Бубно-

вого. Он начал внимательнее слушать своего усердного пестуна, который, качав его еще в колыбели, ходил за ним в детстве, разделял с ним и радость и горе, любил его всею своею душою. Барин при всех своих пороках был для Дементия сокровищем ненаглядным. «Молодо-зелено, — говорил старик про себя, с гордою улыбкою смотря на его проказы. — Пусть перебесится парень, из него будет прок». Барин в свою очередь привык к дядьке, чувствовал к нему привязанность и часто слушался его. В самом деле, Дементий, одаренный от природы русским умом, острым, сметливым и гибким, наслонявшись по белу свету, наглядевшись всякой всячины, бывши и в холье и в мялье, часто судил верно о житейских обстоятельствах и подавал советы благоразумные, которые не один раз выручали из беды повесу.

— Они приехали третьего дня, — сказал Бубнов, — зачем же ты не сказывал мне этого прежде?

— Прежде? — а когда же мне было говорить вам прежде? Помните ли вы, что вас целую неделю не было дома, всякий день от

темной зари и до темной зари. Только что три дня — благослови, господи, в добрый час молвить, в худой помолчать — присели вы на место, да и то не к добру. К вам приступу не было, и лицо-то на вас было не христианское. Меня мороз по коже подирал: долго ли до греха, думал я... насилу-то нынче дождался голосу: ух, как гора с плеч свалилась. Впрочем...

Дементия нельзя было прерывать в то время, когда он произносил длинные свои речи; чтоб узнать дело, должно было слушать его вздор, и Бубновыи, знавший сию слабость, покорствовал своему жребию, молчал и слушал.

— Впрочем, сказать вам правду-матку, я сам только что нынче узнал смак в этих невестах. Видите ли вы — да пойдите, сударь, домой; уж ночь на дворе, и меня пронимает холод.

Бубновыи встал со скамейки, и они отправились.

— Видите ли: третьего дня сижу я за воротами да глазею на прохожих, глядь налево едет шестерка, лошади сухопарые чуть передвигают ноги и тянут одна в одну сторону, а другая в другую, как будто в первый раз за-

прягли их вместе; упряжь вся из веревок, фореитором едет мужик, как сено везет — и кучером мужик же. Из окошка видна была старушка, которая держалась за тесемку. — Голь перекатная, подумал я, ан вышло дело не так: не красна изба углами, а красна пирогами. Вот я расскажу вам все по порядку. Они заворотили на двор к соседке, подле нас. Не прошло четверти часа, выбежал из палатки лакей и прямо ко мне...

— Верно рыбак рыбака далеко видит в плесе?

— Толкуйте что знаете. — «Далеко ли пивная лавочка? — спросил он меня, — мочи нет: пересохло горло и устал как собака. Отведи душу». — «Близехонько, земляк, насупротив; да постой, я провожу тебя, и мы выпьем за компанию». — Пошли. Мой земляк пил пиво ковш за ковшом. «Видно, любезный, тебя к горячему-то с нагубничком подпускать надо», — сказал я ему. «Чего, брат, насилу додрвался: целую дорогу ведь во рту не было ни капли. Слышь ты, глаз не спускает, проклятая». — «Кто-о?» — «Барыня; то она, то дочери, хоть бы вас с корнем вон!» — «А издалеча еде-

те?» — «Из Спасска». — «Ну, так ты порядком попостился! Куда вы?» — «Сюда». — «За какими делами?» — «Кто их знает. Зачем-то принесло нелегкое». Между тем мы вышли из лавочки и простились: он побежал к себе, а я пошел к себе.

Бубновым вздохнул.

— И пропустил мимо ушей все, что слышал. Нынче мне захотелось запить горе после того, как вы мне рассказали о своем проигрыше: я пошел в лавочку, а там уж у дверей стоял мой Фалалей в треугольной шляпе и лирее — пристало как к корове седло. — Мы опять клюкнули. Слово за слово, язык у него поразвязался, он стал болтать, болтать, и я узнал кое-что. Видите ли вы...

— Ну, насилу я дождался конца, который мне только и нужно знать, мой добрый враль!

— Насилу! — скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Видите ли вы в чем дело: старуха вдова...

— Сколько у нее дочерей?

— Три...

— Так верно с ними я повстречался нынче

в рядах. Они звали меня к себе в гости...

— Может быть. Ну, да ваша речь впереди. Выслушайте-ка прежде меня. Старуха вдова, дочерей у нее три, а денег счета нет. Муж у нее был судьей в самом хлебном городе, между однодворцами, лет тридцать, а ведь вы знаете, сударь, что на одном месте и камень обрастает, не только что судья. Дочек больно хочется пристроить к месту...

Здесь Дементий начал описывать наружность дочерей Анны Михайловны, как видел их, по описанию Ваньки, в своем усердном воображении — похоже на того известного живописца, чья кисть

*Всегда над смертными играла,
Архипа Сидором, Козьму Лукой
писала.[11]*

А после Бубновый, почти уже пред квартирой, рассказал Дементию свою встречу.

— Верно они, — отвечал, подумав, пестун. — Сказали ли они вам о своей квартире?

— У мещанки Перепелкиной.

— Сейчас справлюсь. А, да вот я вижу у ворот моего благоприятеля. Ступайте домой, су-

дарь, а я потолкую с ним кой о чем и подпущу турусы на колесах.

— Что, брат, щека-то у тебя левая покраснела? — сказал он, ударяя по плечу своему знакомому, который сидел у фонаря на лавочке, повеся нос и надув губы. Но мы выслушаем их после.

Между тем Бубновы́й тихим шагом пошел на свою квартиру. Там отыскал он на окошке сальный огарок в глиняном подсвечнике, высек кое-как огню, раскурил трубку и бросился на кровать, погруженный в печальные размышления о критическом своем положении. Скучно, досадно было несчастному! И все, как нарочно, увеличивало его скуку, его досаду: нагорелая и засыпанная табаком свеча чуть освещала большую комнату, ветер дул в разбитые стекла и шевелил бумагою, которою они были залеплены; дверь, не пришедшаяся плотно к косяку, беспрестанно растворялась и хлопала; в сыром углу пищал без умолку сверчок; на дворе завернуло сиверко, его пронимал холод. «Что предстоит мне теперь?» — думал он, закутываясь в серую ши-

нель свою, думал в первый раз от рода, ибо во всех своих действиях он следовал первому порыву, и голова его очень поздно получала об них сведение. «Бесчестие, военный суд, ссылка в дальний гарнизон — там должен я буду волочить свою жизнь между человеческими дикобразами... выпутаться мне невозможно. — Граф... он сам в долгу, как в шелку. — Неужели по совету моего Дементия взять себе какую-нибудь сельскую переспелую дыню? Но за меня пойдет только отчаянная! Впрочем, если бы удалось мне обмануть хоть полуотчаянную... Я попаду из огня в полымя: шутка ли маячить в глуши с глазу на глаз с верною своею супругою, толковать об овсе да о пшенице, считать четверки да гарнцы, колотить старосту да дворецкого, ухаживать за тетусками да дядюшками. Ведь не в столицу же повезти ее на позор себе. — При том каково будет мне за каждый кусок смотреть ей в глаза, слышать от нее попреки? — попреки!.. Нет, я расшибу тебе голову, моя суженая. Точно, я брошу ее, а после (читатели, вероятно, замечают, что сон начал одолевать нашего рыцаря, и мысли его бродили из одной сторо-

ны в другую), а после... Ах, если бы я выиграл столько, сколько проиграл! проклятая пиковая шестерка, что бы упасть тебе налево! Вот уж пустил бы всем пыли в глаза: рысаки, шампанское, мундир не мундир. Катенька! я женился бы... нет, нет. Полина, не бойся, я не изменю тебе. Черные глазки, ножка — чудо, вздернутый носик и пятьсот душ, и отец прокурор, и дядя дивизионный генерал; меня тотчас произвели бы в полковники, камергеры, вице-губернаторы. Как бы зажили мы? Душенька! Открытый стол, балы по субботам, мы принимаем к себе всю знать. Матушка! что с вами будет, если вы услышите о моем горе. Матушка! вы любите меня... Я виноват... Не браните... Дементий, товарищи, выручите, я...»

Он уснул, и игривая фантазия назло действительности представила ему целый ряд картин восхитительных. Удовольствие его обнаружилось в улыбке...

Эту улыбку заметил вошедший Дементий... «Ты улыбаешься, мой сокол ясный, — промолвил он потихоньку, подойдя на цыпочках к своему выхоженку, — а я из тебя на

свет не глядел бы. Куда угодим мы с тобою теперь? — Голубчик, — прибавил он, смягчившись через минуту, — он и не поужинал! свернулся комочком и спит как ни в чем не бывало». Дядька смотрел на него несколько минут с умилением, перекрестил три раза, погасил бережно свечку, запер дверь на крючок и, помолясь богу, с пословицею на языке: утро вечера мудренее, расположился на полу подле барской кровати.

Дементий не узнал ничего нового. Вот причина неприятного расположения, в котором он лег спать. — Как искусный дипломат, чтоб не показать излишнего участия в деле, чтоб не навлечь на себя подозрения, он при встрече с Иваном начал было говорить о постороннем и потерял драгоценное время; потому что едва еще были кончены им прелиминарные [12] статьи, как собеседника кликнули к барыне. Он напрасно в этом случае прибегал к хитростям; добрый служитель Анны Михайловны, в продолжение сорокалетней своей службы при барыне имел случай единственно и исключительно заниматься исполнением, так привык поэтому ограничиваться од-

ною настоящею минутою, что в нем не могло зародиться ни подозрение, ни сомнение, ни другое подобное действие души. Но такова была привычка Дементия: он старался вовремя и невовремя не упускать ни одного случая упражнять свои политические способности. Первый вопрос его был, как мы видели, о происхождении зловещих знаков на левой щеке грустного служителя.

— Барынино жалованье получил, — отвечал сей последний русской ирониею.

— А за что бы этак пожаловала?

— Здорово живешь.

— Все-таки привязалась, чай, к чему-нибудь? уж так водится.

— Захотелось подраться, так привязываться не мудрость. Такая у нас жид-барыня: коли день кого не поколотит, так к вечеру рада на стену лезть; и тут не попадайся никто на глаза. Давеча послала она меня из рядов за кулками домой; я только что зашел с тобою в лавочку, а там, сам ты знаешь, долго ли мы были, — и воротился к ней; так, слышь, зачем промешкал. В рядах-то, как путная, она только побранила меня да покосилась — там был

с нею какой-то офицер...

— Офицер?

— Да. Я было и рад тому: думал, сошло с рук, а не тут-то было. Воротились домой, она и почала мне с щеки на щеку башмаками, на силу отвязалась...

— Эх, брат, за тычком ты гонишься! Что такая за важность! Ведь уж нам не привыкать стать к этому: мы духом размыкаем это горе у Артамоныча — покамест не заперта еще лавочка; видишь, он стоит под орлом[13], как будто нас дожидается; — а прежде скажи-ка ты мне, о чем я спрошу тебя. Вот что...

— Иван Григорьевич, Иван Григорьевич! — раздался тоненький голос с крыльца подле ворот того дома, где приятели сидели и беседовали.

— Что ты, Машка? — воскликнул с досадою Иван, по душе которого маслом было разлилось приятное обещание Дементия.

— Барыня вас спрашивает.

— Чтоб тебя пусто взяло, проклятая, не даст духу перевести, — проворчал Иван; и, послушный магическому имени, повлекся он за босою Ириною[14], бросив грустный взор на

своего приятеля, который досадовал не меньше его на безвременное прерывание занимательного разговора.

Вызов Ивана к барыне имел непосредственное отношение к тому делу, в котором дядька Бубнового принимал такое живое участие, и если бы он узнал как-нибудь о его причине, то лег бы спать с сладостнейшими, вернейшими надеждами, и не сказал бы, что утро вечера мудренее, а, наоборот: вечер мудренее утра.

Мои читатели в этом случае будут счастливей Дементия: я тотчас удовлетворю их любопытству и расскажу им подробно все обстоятельства, которые заставили меня пожалеть о том, что человек лишен способности знать вдруг о всех случайностях, способствующих в то или другое время к устроению его счастья или несчастья.

Для этого надо перенестись в покои Анны Михайловны тотчас по возвращении ее с ярмарки и расчете с провинившимся холопом и подслушать следующий разговор.

Старшая дочь. Ах, маменька, какой любезный кавалер нам встретился!

Средняя. Как он хорош собою! Какие черные, большие глаза у него!

Старшая. Какие густые бакенбарды, длинные усы. — А глаза-то у него, впрочем, не черные, сестрица, — ты не разглядела — а карие.

Средняя. Вот еще не разглядела! Да ведь он шел подле меня. — Уж не ты ли лучше видела?

Старшая. Разумеется, лучше: подле меня он шел дальше! — Как пристал к нему вицмундир с синим воротником!

Средняя. Так вот нет же: воротник у него зеленый!

Старшая. Тебе хочется спорить!

Средняя. А тебе нет?

Старшая. Разумеется, нет; что глаза у него карие, я это знаю наверное, а воротник на сюртуке синий! Я как теперь на него гляжу.

Средняя. И я также.

Старшая Средняя

(В один голос, скоро.)

Росту среднего, глаза карие, волосы черные, немного курнос, худощавый, рот небольшой, зубы белые, усы длинные, а бакенбарды

большие, плеча широкие, высокая грудь, в вицмундире с серебряными эполетами — синий воротник, шпага с темляком... Машка!
Стакан квасу.

Росту высокого, глаза черные как уголь, волосы темно-русые, нос длинный, лицо полное, рот широкий, зубы чистые, но не белые, усы кудрявые, бакенбард и не видать, плеча не очень широкие, грудь не очень высокая, в мундирном сюртуке с золотыми эполетами, воротник зеленый, сабля... Машка! кружку воды.

Средняя. Будь по-твоему. Я уступлю покамест. — Как жаль, что мы так близко были от экипажа: он не успел поговорить с нами порядочно!

Старшая. Мне он успел сказать очень много лестного.

Средняя. Какого прекрасного розового цвета ваша косынка, сказал он мне, однако ж этот цвет уступает цвету ваших... О Петербург и Москва! Какие счастливицы живут там!.. услышишь ли у нас в городе такие нежности?! У нас только и есть, что отставной ис-

правник, да он так любезничает около Пелагеи Петровны, что никого и ничего не видит больше... Что еще сказал офицер?.. да... я запретил бы барышням носить косынки, шали и платки. Это выгодно для некоторых, зато другие лишаются...

Старшая. Случая явиться во всем блеске своих прелестей. Он сказал это, как у тебя с плеч упала косынка. Отчего упала она?

Средняя. Ах, боже мой! я почему знаю? ее снесло ветром.

Старшая. Бросясь поднимать ее, он наступил мне на ногу.

Средняя. Он извинился перед тобою в неосторожности.

Старшая. Извинился, но очень просто. «Вам больно, сударыня, я виноват». Так извиняются у нас и в Спасске. Верно, он истощил весь запас своих комплиментов в похвалу прекрасной моей сестрицы, которая бросала на него исподлобья такие умильные взгляды.

Средняя. Ах, боже мой! да что ты это пристаешь ко мне, сестрица? Чем я виновата, что понравилась больше твоего? Маменька! уймите сестрицу. Она говорит мне бог знает ка-

кие колкости за то, что офицер не похвалил ее веснушек да узеньких ножек.

— Перестаньте, чечетки, не мешайте мне, — воскликнула с сердцем Анна Михайловна, которая во все продолжение этого нежного разговора считала на счетах издержанные деньги и никак не могла добраться толку в своих покупках. — Пять аршин кисеи по два рубля с полтиною за аршин — вы не можете ничего разделить без драки, — десять да десять рублей, да пять полтин, двадцать два рубля с полтиною — вас всегда надо брать порознь — я дала мадаме белую ассигнацию, двадцать семь рублей, итак, мне следует получить четыре с полтиной — вы при людях качнете грызться, позорницы, — а здесь только четвертак, три двугривенных, медью три пятака и грош. Ах, она плутовка! она обманула меня. Нет, голубушка, я справлю с тебя завтра, еще не достаает...

— Не позабыли ль вы, маменька? — садясь в карету, вы купили две плетки, одну побольше, другую поменьше. Вот они.

— Да, да, да, я заплатила за них двугривенный, теперь так точно, еще лишних алтына с

четыре. Прости же меня, мадам, поклепала я тебя даром. Кстати о плетках — где Машка? Что она не стоит здесь у дверей? Ну вот как не обновить покупки?

— Сейчас я позову ее, маменька, но прежде рассудите меня с сестрицею: она обижает меня и говорит, будто я старалась выказаться пред офицером.

— Ах, мать моя, что ж это за беда такая! затем и на ярмарку приехали, чтоб показывать себя добрым людям. Не сидеть же ведь, склавши руки крестом, как великатная наша Анна Петровна: ее с таким поведением и во веки веков не сживешь с рук. Что, милая, пригорюнилась? Думай — сто рублей деньги. — А тебе, друг мой. Аграфена Петровна, советую сестру не дурачить, а не то мы поссоримся.

— За что вы на меня гневаетесь, маменька? Сестрице бог знает с чего показалось, что я смеюсь над нею, и она наводит вас на гнев по пустякам...

— Нет, не по пустякам.

— Опять принялись за свое, сведенные. Слушайте, глупые: вы должны помогать друг другу, а не поперечить. Чуть одной идет на руку,

чуть одна кому-нибудь нравится, другая пусть подбежит, да и ухаживает за ней, похваливает — чего хорошего не примечают, пусть то выказывает — дурное, изъянец какой, скрывает — во всем потекает, что забыто, припоминает. А вы что! Только что ссоритесь, бранитесь, мешаете одна другой, да обе за то и остаетесь по сю пору в девках. Позабыли вы, что с такими спорами жениха мы в Спасске недавно еще упустили из рук, а ведь уже совсем было дело к концу шло, и роспись [15] он спрашивал. Двести душ, земли десятин триста, родни никого нет, да глядишь, попадет на тот год в исправники. Так нет, надо было Аграфене Петровне проболтаться, что сестра часто головою припадает. Больной жены кому надо — отказался. Посмотрите на Афимью Григорьевну: шестерых дочек уже рассовала, а попеченья у ней в шестьсот крат меньше моего, да дочери у нее удачнее: чуть кто холостой заедет в город, тотчас проведуют, познакомятся, зазовут к себе в гости, обласкают, залезбелят (согрешила, окаянная!) — женишок-то и тут как тут — успевай только родители под венец водить. — Счастье ваше,

что мать попалась к вам такая, которая все обдумывает, обо всем рассуждает, спит и видит, чтоб пристроить вас к месту. Только говорю вам в последний раз, оставьте ваши брани, а не то я всех вас оставлю — живите как хотите; я пред богом грешна не буду, и вам плакаться на меня нельзя, а разве мне на вас. — Теперь послушайте же: офицер мне понравился. Он человек преаккуратный. Я кое-что выдумала уже на его счет, да посоветуюсь теперь с Кузьминишною: она на эти дела ходок. И, может быть, мы придумаем штуку, как бы залучить его поскорее сюда, а вы между тем не зевайте.

Анна Михайловна, вынув из свертка плетку, попробовав ее раза два о стену, пошла в соседнюю комнату на лежанку советоваться с Кузьминишною; дочери ее разошлись по углам размышлять о полученном наставлении, одна с торжеством, другая с унижением, третья в углу стала писать; а я пока на досуге постараюсь, переменив драматический образ изложения на эпический, познакомить читателей короче с тремя молодыми героинями.

Средняя дочь Анны Михайловны, которая

пред нашими глазами одержала такую блистательную победу над старшею своею сестрою, лицом была очень похожа на полный месяц, когда он, в летний вечер, красен и велик, начинает показываться из-под дальнего горизонта. Полные, румяные щеки и плеча составляли главное основание ее собственных претензий на красоту, главное основание прав, уступаемых ей нехотя провинциальными ее подругами, кроме сестры ее, на славу в царстве изящного. Впрочем, в наружности ее не было ничего особенно примечательного, кроме сходства в некоторых чертах с родительницею. Сходство сие еще было разительнее в отношении к голосу, походке, характеру, уму, и здесь-то, может быть, заключалась тайная причина особенной благосклонности матери к своему живому портрету — причина, почему получала она часто первенство между сестрами, ей не принадлежащее. Впрочем, должно сказать и то, что она старалась поддерживать к себе расположение матери, умела так примениться к ней, что та, очарованная, рада была подчас для Полиньки заложить свою душу, не только что обвинить ее

сестер в правом деле. Анна Михайловна, например, любила знать чужие дела; и все соседство, верст на сорок кругом, было у ее дочери на ладонке: ни малейшее происшествие между супругами, родителями, чадами, родственниками дальними и ближними и даже знакомыми не укрывалось от ее любознательного уха и глаза. Всякий вечер представляла она матери подробный бюллетень о новостях городских и уездных и, заведывая таким образом с отличным успехом к полному удовольствию матери департаментом внешних сношений, доставляла ей неистощимый источник наслаждений и по длинным зимним вечерам и по длинным летним дням.

Внутренние дела препоручены были старшей дочери, которая имела все на руках в доме и хозяйничала, когда Анна Михайловна по каким-нибудь непредвиденным обстоятельствам должна была оставлять кормило правления. Дворня находилась под ее надзором, и она, сызмаленька приученная, умела содержать домочадцев в подобающем страхе; главное же достоинство ее состояло в том, что она, как свои пять пальцев, знала все, относя-

щеется до церковных постановлений и скорее всех месяцесловов[16] и требников[17] назначала сроки постов и мясопустов[18] — никогда не ошибалась в назначении дней господским праздникам[19], — разве только при задавании работы домашним; знала по имени архиереев, архимандритов, игуменов, игуменний, схимников и даже стариц и старцев значительных; читала наизусть жития святых от первого января до тридцать первого декабря включительно; а при рассуждении о разных житейских действиях, в трудных нравственных задачах своим положительным словом проводила всегда резкую черту между грехом и спасением. Без сих познаний едва ли бы не было двух Ченерентол[20] в семействе Анны Михайловны, которая по сердцу не слишком была расположена к старшей своей дочери, но стремясь внити в царство небесное и видя в ней твердую подпору и надежную руководительницу, вела ее нехотя наравне с среднею дочерью. Говоря о Аграфене Петровне в отношении к ней самой, заметим, что самолюбие и притязания на красоту составляли средоточие всего ее нравственного организ-

ма; ничем нельзя было раздосадовать ее столько, как предпочтением средней сестры, что уж и удалось нам заметить.

Меньшая дочь отличалась совершенно от старших своих сестер. Она с младенчества воспитывалась в доме у графини Б., за делами которой ходил ее отец. Там получила она прекрасное образование вместе с единственною дочерью своею благотельницы и познакомилась с благородными наслаждениями ума и сердца. Но, к ее несчастью, графиня скончалась, а дочь ее вышла замуж в большое семейство, в которое по особым обстоятельствам никак не могла взять с собою свою подругу. Анна Петровна возвратилась в отеческий дом и была принята там, разумеется, не с удовольствием. Сестры видели все ее превосходство над собою и, находя себе покровительство в матери по сходству образа мыслей, начали смеяться над нею, а мать, отвыкшая от нее так давно, смотрела на нее, как на чужую. — Молодая просвещенная девушка в чуждой сфере мучилась беспрестанно, быв свидетельницей всякий день разных отвратительных явлений между людьми, любезными

для ее сердца; но об ней мы будем иметь случай после узнать подробнее.

— Итак, решено! — воскликнула Анна Михайловна громко в заключение аудиенции. — Кузьминишна! тебе спасибо за то, что надумила на путь истинный. Машка! Ваньку...

— Слушай, болван! завтра чем свет ступай по городу, из дома в дом и узнай, где живет тот офицер, который с нами нынче встретился в рядах.

— Ведь здесь много офицеров: как же мне об нем спрашивать?

— Как хочешь, дурак, только чтоб ответ был готов к поздним обедам.

— Слушаю-с.

— Теперь собирай ужинать да купи квасу на грош, пока не заперли лавочек.

Ужин продолжался недолго и по окончании оногo все действующие лица моей повести легли спать с различными беспокойными чувствами, подобно Бубновому и Дементию, уложенным нами прежде: Анна Михайловна изобретая средства как скорее поймать в сети понравившегося офицера и женить на которой-либо из двух дочерей своих; старшая —

как бы отвлечь его, вопреки наставлению матери, от своей сестры и понравиться больше ее на другой день; средняя — как бы сохранить и увеличить полученное преимущество, а меньшая — как бы избавиться от неприятных прогулок, в продолжение которых она должна была беспрестанно краснеть и стыдиться. Всех слаще, крепче и скорее заснула молодая Машка, испытывавшая на себе действие новой плетки, а всех горьче, слабее и медленнее — наш бедный Иван, которому на другой день предстояло трудное приказание: в целом городе между тысячами людей отыскать незнакомого офицера по неясным приметам. Долго он ворочался, часто он вздрагивал, откликался, покуда наконец благодетельный сон дал отдохновение уставшим его ногам, рукам, щекам, спине и голове.

Но он тревожился напрасно, и несчастье грозило ему только во сне, а наяву, в первый раз отроду, поблагоприятствовали обстоятельства: с первым ударом колокола к заутрене вышел он из дома, и у самых ворот встретился ему Дементий, которому также не спа-

лось по другой причине, нам известной. Лишь только заикнулся он о своем горе, как Дементий, сам внутренне обрадованный, тотчас его утешил, сказав, что искомый офицер есть его барин.

— Как так? Что ты? Врешь! Неужто?

Прятели на радостях пошли в любимое место, и тут-то Дементий на просторе и на досуге узнал от благодарного своего товарища все подробности, относящиеся до жизни и состояния его барыни, разумеется, сколько знал сам сей последний; а так как хитрая Анна Михайловна никому дома, как и в городе, не давала ни малейшего сомнения о своих расстроенных обстоятельствах, то Дементий и получил самое неправильное об них понятие, то есть такое, какое должно было иметь об них при жизни покойного барина, когда деревня находилась не в спорном положении, а из долгов не пропадало ни копейки. К сроку, перед обеднями, с торжеством возвращается Иван домой.

— Ну что? — спрашивает его с нетерпением Анна Михайловна, сидя за чаем с Кузьмишною, — нашел ли?

— Нашел, сударыня: Федор Петрович Бубновский живет рядом с нами.

— Как рядом с нами!

— Пришел, видно, час воли божией, — сказала, улыбаясь, Кузьминишна. — Коли так, я знаю этого офицера. Они с графом... как бишь его, провалились он... наняли было у меня эти покои, да после не показалось им тем, что в гостиной пахнет кухней. Богатые люди. Извозчики — не извозчики! А гостей-то, гостей-то всякий день, что ворота, бывало, Фока уставал отпирать да запирать. Пирь да банкеты. Анна Михайловна! куйте железо, пока горячо.

— Послушай же, Иван, — сказала довольная барыня, — ступай ты сейчас к Федору Петровичу — оденься почище — и кланяйся ему от меня и скажи: барыня моя, которую вы вчерась так премного одолжить изволили, сейчас-де нечаянно, слышишь: нечаянно — узнала, что вы с нею такие близкие соседи, и приказала, дескать, просить вас, как можно, откушать у нее нынче деревенских щей, беспеременно, в два часа. — Если что он будет у тебя спрашивать обо мне и барышнях, то...

Кузьминишна, растолкуй дураку, что должен он отвечать на вопросы, а я пойду, подниму своих неженков.

Кузьминишна начала делать Ивану свои наставления, как он должен пред офицером хвалить свою барыню, а пуще всего барышень, за их доброту, тихость, рукодельство, досужество — а Анна Михайловна принесенною вестью скорее, чем холодной водою, разбудила дочек, которые поутру досыпали ночь, проведенную без сна в размышлениях и воспоминаниях.

Иван переврал, разумеется, все данные ему слова, но Бубновый, предупрежденный проворным своим дядькою, понял очень хорошо бестолкового вестника, и, приказав благодарить за приглашение, обещался быть к назначенному времени.

Ах, если б можно было описать все хлопоты, советы, спросы, суеты — все происшествия, которые случились этим важным утром в доме Анны Михайловны! Началось с приготовлений к обеду. Она перебрала все кушанья, кои отведывала где-нибудь в продол-

жение своей жизни, но разборчивые ее дочери, желая показать себя пред новым знакомцем и почваниться своим умением жить в свете, охуждали одно за другим: уха из стерлядей слишком обыкновенна в Нижнем, а хлебка из клецек напомнила б о деревне; круглый пирог не подается на больших столах, а паштета делать уж некогда; ветчина кушанье не летнее, а почки в соусе едят только помещане. Таким образомжданному гостю пришлось бы голодать на званом обеде, если б наконец Анна Михайловна, выведенная из терпения беспрерывными противоречиями, с досады не выгнала наконец дочерей из комнаты и не положила с Кузьминишной на мере [21], из каких кушаньев должен был состоять обед. Закупка припасов представляла б еще столько же затруднений, ибо надо было испустить все скорее, лучше и дешевле, если б Кузьминишна не взялась услужить в этом своей постоялице и достать даже напрокат серебряного столового и чайного сервиза. Барыня сама отправилась в кухню, не надеясь на повара, Иванова брата, и там, засучив рукава, принялась сама месить тесто, чистить рыбу,

прищипывать пироги; она прислушивалась к каждому горшку и приглядывалась к каждому вертелу точно так, как... точно так, как ее дочки в это время к зеркалу, стараясь добыть себе красоты, которой им бог не дал. Вот еще где было сумятицы! С девяти часов они начали одеваться. Все сундуки, чемоданы, корзины и шкатулки были наружу: не осталось ни одного платья, которого б они не примерили, ни одной косынки, которая б не повисела у них на плечах, и ни одного колечка, которое б не перепрыгало по всем пальцам. После многих проб вот пристала к лицу шемизетка[22], но она уж измята, надо ее разгладить или примеривать другую; вот хорошо сидит платье, но нет башмаков под цвет. А что стоило им умыться, причесаться, так, чтоб все волосы были подобраны один к другому и стояли над маковкой точь-в-точь против журнальной картинки! Сколько труда, внимания надо было употребить наконец на то, чтоб притереться, насурьмиться, набелиться и нарумяниться и ни одной точки на лице не оставить без внимательного рассмотрения, устремив все вместе к общему эффекту. Прибавьте еще,

что у них у всех было одно большое зеркало и одна камер-юнгфера. Бедную, они затолкали, засовали, заципали ее совсем, и во всем мире она могла тогда не завидовать только повару, который под личным надзором у Анны Михайловны зарумянился скорее своей телятины, и бедному Ивану, которого сбили с ног, посылая беспрестанно в лавочку, в винный погребок, на ярмарку, к Кузьминишне. Пострадал и этот несчастный: его гоняли с места на место, а между тем посуда еще не вымыта со вчерашнего ужина, ножи не вычищены, не выточены, комнаты не подметены и столовое белье не подготовлено; к пущему же горю Анна Михайловна как вездесущая хозяйка беспрестанно прибегает из кухни наверх то по призыву дочерей — сказать свое мнение об их нарядах, то наведаться, так ли исправно идут дела в комнатах, как у нее на кухне, и всякий раз Ивану достается за упущения; он примется за ножи, а она сует ему полотенце в руки, он хочет тереть тарелку, а его щеткой утыкают в нос. Между тем время идет, идет, и наконец часовая кукушка кукует двенадцать, число, которое Иван, превратившийся, как мы

сказали, все приглашение барыни, назначил Бубновому вместо двух.

Бубнов, побуждаемый без умолку своим дядькой, уж нафабрил усы, взъерошил волосы *a la diable m'emporte*[23], стянулся как на смотр, надел блестящий доломан[24], привесил саблю и шашку, напрыскался духами, словом, разрядился в пух и, дав пройти полчаса после срока, пошел к своим знакомым, провожаемый Дементием, который и крестил его сзади, и читал молитвы, и шептал какие-то заклятия, слышанные им еще от покойной бабушки в деревне.

Каково же было изумление Анны Михайловны, узнавшей о прибытии гостя в пылу своей стряпни, когда у ней пирог еще не отмяк, жаркое не дошло, поросенок не остыл и бланманже[25] не было взбито! Каково было изумление ее дочек, услышавших через перегородку побрякивание гусарских шпор, — когда у Пелагеи Петровны одна щека была еще краснехонька, как пион, а другая желтехонька, как лилия; когда у Аграфены Петровны пришивалась еще фалборка к платью, припе-

кались пукли, а башмаки надеты на босую ногу! Все они с трепещущим сердцем взглянули в замок на дорогого гостя, как он охорашивался пред маленьким зеркальцем и ходил взад и вперед по комнате, ожидая хозяек; все взглянули — и у всех опустились руки, как у воров, пойманных с поличным. О! с какою злобою вцепились бы они в волосы бестолковому Ваньке, если б только были уверены, что он не взвизгнет и не обратит на себя внимание офицера. За то ж и взглянули они на него, как он пришел их спросить: «Что прикажете?»

Анна Михайловна нашлась, однако, тотчас: она выслала меньшую свою дочь, которая давно уж сидела в углу в простеньком ситцевом платье и сожалела о произвольных мученицах, — просить извинения у гостя и занять его приличным разговором, пока матушке и сестрицам можно будет принять его. Та вышла, и все отдохнули. Мать возвратилась на кухню для окончательных распоряжений, дочери принялись за туалет, решась одеться поскорее, ибо им было очень неприятно, что меньшая их сестра имеет теперь та-

кой прекрасный случай говорить наедине с их женихом; даже от зеркала они подбегали часто к двери подслушивать речи Анны Петровны.

Та, разумеется, исполнила свое поручение очень ловко; Бубновъ при всем своем невежестве начал находить удовольствие в ее разговоре и отпускать свои гусарские комплименты, как ее сестры, почувствовав большие опасения, несмотря на то, что не совсем еще оделись и не получили от матери общего плана действий, решились тотчас явиться на сцену. — Машка отворила им двери настежь, и они выступили, присели величественно, как театральные воспитанницы, и тотчас засыпали своего гостя вопросами и рассказами, так что тот едва успевал оборачиваться — а наконец явилась и Анна Михайловна, которая привела все свои дела в порядок и нарядилась в свой праздничный чепец и новый ваточный капот...

— Извините нас, батюшко Федор Петрович, что мы так вас беспокоили. Я не вспомнилась от радости, как узнала, что вы подле нас живете, и нынче же хотела изъяснить вам

свою признательность за ваше вчерашнее одолжение. Что б нам делать было без вашей помощи? Таскаться б по рядам, как горничным. Сделайте милость, присядьте сюда на софу. Да что ж вы, дочки, не подчивали дорогого гостя водкою? То-то молодость! Заговорились, заслушались! — Малый! Подай водки сладкой и принеси закуску: масло, икру, колбасу. — Ведь и еще надо мне у вас извинения. Мой дурак перепутал все: я просила вас в два часа, а он сболтнул в двенадцать. Сорок лет бьюсь с этим уродом. Вы, чай, подумали: вот деревенщина! Нет, батюшко, мы бывали и в губернии, и в столице, и в Петербурге и знаем, что обед чем позднее, тем благороднее. Не взыщите, сделайте милость, что вам так случилось здесь обождать.

— Помилуйте, сударыня! Мне было очень приятно.

— Какое приятно. Да уж так и быть. Сбирайте же на стол. Ванька! Да что ты один здесь таскаешься?! Вели братцу пожаловать: что ему теперь делать в кухне. Машутке также. Как, батюшко, нравится вам наша ярмарка?

— Самая шумная и веселая, а нашему брату гусару то и на руку.

— Весела-то она, батюшко, весела, да веселье-то дорого достается. Вот мы здесь четыре дня, а уж в шкатулке тысячей меньше. То хорошо, то модно, то дешево, а деньги-то идут да идут.

— Помилуйте-с, на рублях написано: «монета ходячая», так их держать дома грех. Пускай из рук в руки перекатываются!

— Ох вы, военные люди! Ходячая монета! Ведь выдумают же такую штуку! ха, ха, ха!

— Вот видите, маменька, — подхватили дочери, — что говорят о деньгах умные люди, а вы все бережете их да прячете.

— Перестаньте; и вы недовольны еще мною, шалуньи! Не слушайте их, батюшко! Уж они такие баловницы у меня. — Что делать? Сама виновата — избаловала на свою голову. — Покойник говорил мне: «будешь жалеть», — и вышла его правда. Пристанут, повиснут, заплачут: «маменька, купите; голубушка, купите; родная, купите». И купишь, и купишь, хоть, признаться, иногда и пожалеешь, что на пустяки истрачиваешься. — А

иногда и то подумаешь: молоды, хочется пощеголять, поиграть; постареют, так и сами придут в разум. Конечно, если б жив был покойник наш, так можно б покупать...

— Но он по милости своей оставил вам ведь верно довольно... не прожить.

— Бога гневить нельзя, — сказала, улыбаясь, Анна Михайловна, давая разуметь о своем наследстве. — Но ведь ныне времена тяжелые; чего не проживешь?.. Что ты, дурак! какую скатерть постилаешь? Не догадаешься... — и Анна Михайловна принуждена была, оставив гостя, сама идти за стол.

Дочки ее были очень рады открывшейся вакансии и в свою очередь начали одна перед другою выказывать свои таланты перед офицером, который обворожил их обеих своими остротами и комплиментами.

Стол был накрыт, и хозяйка просила гостя пожаловать — откусать хлеба-соли, чем бог послал.

Вот тут-то надо было послушать, как принялась хвастаться проворная старушка, пользуясь всякими случаями намекать о своем богатстве.

— Что за стерлядка! Признаться, такой не поймаете в год в нашей речке; вот окуни так бывают в два раза больше, как ты думаешь, Полинька?

— Я не знаю по именам этих рыб, — сказала матери модница.

— Вы по-моему, лишь бы было вкусно; все равно, хоть пескарь, хоть налим.

— Ох, бездомовные! вот бы свести вас обоих вместе. Свели бы домик на ниточку.

— Почему же нет... — сказал Бубнов, улыбаясь, — и ниточка иная оборвется не скоро.

Все засмеялись. Разговор сделался живее. Анна Михайловна продолжала действовать по своему плану:

— Не взыщите, батюшко, на курице: не своя; вот как мы, бывало, в Прокошине откормим пулярдку, так жиром и оболъется, а здесь торговые, заморенные; что взять? Вот хоть бы теленок — таких у нас рабы не едят: бывало, к разговенью отпоишь молочком недельки четыре; так что в рот, то спасибо...

— А у вас большое заведение в Прокошине?

— Не так чтобы большое, а коров дойных до сотенки набралось — было побольше. Петр Михеич был охотник до рогатого скота.

— О! сотню коров продержат не безделица. Верно, у вас покосов много.

— Угодья, батюшко, весьма довольно. Соседи было нас обидели, но Петр Михеич умел справиться с ними, так что у всех урезал десятинок по пяточку, и у нас округлилась усадьбица, любо-дорого. Все свое, и продадим...

— На много?

— Тысчонки на три — или, в хороший год при нем, на четыре, но все еще Прокошино не такой доход нам приносило, как мельница. Вот уж обработал дельце покойник! Лет десять мы ее держали от суда, так что твоя деревня!.. Деньги так и сыпались из-под жернова, успевай лишь подгрести.

Бубновый слушал все это с удовольствием и, дождавшись своей очереди, сам пустился в такие рассказы, кстати и некстати, что Анна Михайловна умолкла перед ним, удивленная. В Петербурге все ему знакомо: один министр дядя по отце, другой — по матери, тот генерал ему должен, этого он избавил от беды, а этот

самого его выведет скоро в полковники. На всех балах он первый дансер[26], на всех обедах он почетный гость. А деревень-то, деревень-то! И в Тверской губернии у него двести душ, и в Тульской двести, и в Ярославской триста, и в Саратове суконная фабрика, и в Воронежской конский завод, и в Москве дом, и в Петербурге дача. Словом, собеседники от обеда встали чуть ли не с пятью — десятью тысячами годового дохода каждый — откуда что взялось. — Уж правду сказать, друг перед другом себя в грязь лицом не ударили, и дочери, развесив уши, не знали, чему верить, чему дивиться.

После обеда, ознакомившись, общество было еще веселее. Шуткам, смехам не было конца, и за кофеем Бубновы и Анна Михайловна решили про себя, что лучше такой партии искать нечего и что не теряя времени должно ловить счастье. Нашла коса на камень.

Расстались уже поздно ввечеру все отменно довольные друг другом. Анна Михайловна пригласила Бубнового как холостого человека всякий день к себе кушать, чай пить по-домашнему, чем в трактирах издерживаться.

— Да, приходите же к нам почаще! дайте честное слово! — Вы такие добрые, любезные, нам так весело с вами! — подхватили дочки, смотря на него умильными глазами.

И Бубновый, вне себя от благодарности, чмокнул ручки своих невест с такою горячностью, что они покраснели!

— Завтра кофе пить, а после на ярмарку вместе, — сказала Пелагея Петровна, — сделайте милость!

— Непременно, непременно! — Вы увидите, что я надоем вам. Где могу я сыскать такое милое общество?

— Надоедите! как не стыдно! Разве мы вам. Смотрите же, смотрите! не обманите!

И потом бросились они к окошку смотреть за ним вслед, делали ручкою, а он беспрестанно оглядывался и откланивался, пока не вошел в свои ворота.

Анна Михайловна была вне себя от восхищения.

— Ну что, матушка? — спросила вошедши Кузьминишна, с значительною улыбкою.

— Наклевывается, — отвечала она, кивая

головой. — Эй, вы, невесты! что засмотрелись в окошко-то, ступайте на свое место, мне надо поговорить и посоветоваться. — Так отослала она дочерей и осталась одна для совета с своею приятельницею.

— Он мне понравился, Кузьминишна, и хорош, и умен, и деликатен. Родня у него все знатная, но деревень-то насказал он что-то много, тысячи две душ.

— Из многого можно убавить — помиримся на половине?

— Оно так, да есть ли, полно, половина-та? Как бы не ошибиться. Подозрительно мне стало, что он очень скоро подался...

— Ах, мать моя! Ну да если полюбилась барышня, так отчего ж не податься? Наше дело и простое, а ино понравится сатана лучше ясного сокола, так вынь да положь.

— Воля твоя, Кузьминишна, я боюсь ошибиться. Ведь жалко, своя кровь. Надо опросить...

— Кого ж опрашивать: офицер здесь заезжий. Полковая его братья дурного, разумеется, ничего не скажет. Рука руку моет, а обе белы. Разве камардина его?..

— Та, та, та. Его нам и надо. Кстати ж Федор Петрович хотел прислать его к Полиньке, никак с новой помадой. Ну вот и он...

— Все по маслу, — промолвила Кузьмишна, — быть делу!

В самом деле Дементий явился с барским поручением. Анна Михайловна взяла у него помаду, отдала банку выбежавшей дочери, остановила старика, велела поднести ему стакан настойки и, слово за слово, завела с ним длинный разговор. Дементий, как мы уже знаем, был гораздо хитрее своего барина. Он притворился простячком и, как бы против воли, отнекиваясь, издалека наговорил Анне Михайловне на вопросы бог знает что о барском имении, которое явилось, правда, по его словам, в новых губерниях, но этого не заметила испытательница, обращавшая главное внимание только на число душ. Мужики все богатые, торговые, платят оброк малый, никакой прочей тяги не несут и живут лучше купцов, молясь богу за милостивого своего барина. Анна Михайловна заслушалась, велела поднести еще стакан рассказчику, а он-то пуще, а он-то пуще, и так все правдоподобно,

так естественно, так складно, что у Анны Михайловны не осталось ни малейшего сомнения о богатстве задуманного зятя. Тогда Дементий завел разговор об образе его жизни, начал с горестию жаловаться, что он не бережет денег, а из годовых доходов не оставляет ничего в запас, ни копейки. Такое искреннее признание придало еще более вероятий всему его рассказу. «Что делать! Молодой человек! Присмотреть за ним некому. Чужой доброго не посоветует, а норовит как бы самому чем воспользоваться: занять, обыграть, погулять на его счет. Вот если бы бог помог войти ему в какое доброе семейство, где б умные родители наставили его на путь истинный, так вот уж умирать бы ему не надо».

— Подайте-ка рюмку наливки Дементию подслащенной, — сказала умиленная Анна Михайловна. — А что, не замышляет он этак...

— Как не замышлять, сударыня; сюда ехавши остановились было мы в деревне у помещика, прогостили две недели...

Анна Михайловна побледнела...

— Две дочери... так подлестились, окаянные, что мой Федор Петрович сшибся было;

насилу я уговорил уехать на ярмарку. — Что с них взять? все в долгу, как шелку. А людям житье такое хуже каторги. — И сюда-то пишут все к нему, проклятые; нынче еще письмо принес с почты, все зовут к себе, а он, добрая душа, дал ведь обещание и третьего дня говорил, что, закупив кое-что, непременно к ним поедет. Я уж не знаю, как и быть, чем удержать. Опутают доброго молодца — и поминай как звали.

«Нет, — подумала Анна Михайловна, — мы сами не промахи», и, довольная полученными сведениями, отпустила служителя, осыпав его ласками и препоручив ему кланяться барину и напомнить о данном обещании пожаловать завтра к кофе; а сама пошла к дочкам, которые чуть уж не дрались между собою о женихе. Насилу уняла их мать и благоразумными доказательствами убедила дожидаться спокойно, кому сам жених сделает предложение.

— Ведь лучше одной выйти замуж, чем обеим сидеть в девках; после и другой бог пошлет счастье, может и лучше, за претерпение.

Она советовала им быть повоздержнее, пожеманнее, чтоб жених не заметил их излишнего желанья. — После все они занялись новыми приготовлениями, и так кончился этот достопамятный день.

Бубновъй в свою очередь был в таком же заблуждении, как и Анна Михайловна; также Дементий содействовал больше всех к тому, что он вовлекся в обман: пустые рассказы Ваньки, в котором нельзя было никак подозревать умысла, утвердили усердного Дементия во мнении о богатстве Анны Михайловны; ослепленный мыслию, что он спасает любезного своего барина от великой беды, он слышал и видел сам все в доме в преувеличенном виде, не так, как было, а как хотелось его услужливому воображению, и наговорил даже больше своему барину, нежели Анне Михайловне; при том сам Бубновъй нашел в доме множество серебра, видел на дочерях столько жемчугу и бриллиантов, хотя, впрочем, это было только бусы и стразы...[27] «Да что тут думать, — решил про себя отчаянный гусар, — мне лишь взять бы десять тысяч рублей поскорее, а там хоть трава не расти».

— За которой же завтра волочиться? — спросил он, смеясь, Дементия. — Мне понравилась меньшая.

— Ни за что, — отвечал Дементий, — ласкайте среднюю, которую мать любит больше всех и за которой даст, разумеется, не в пример другим. — За меньшей ни гроша не получите, а из красоты ее не шубу вам шить.

— Ну, быть по-твоему, Дементий Васильевич; завтра ж я начну подводить туры на колесах.

И так обе стороны приготовились на другой день к наступательным действиям, которые при таком расположении действующих лиц не замедлили столкнуться так, что решительная развязка сделалась неизбежною.

После многих приветствий, взглядов, комплиментов, благодарностей, упреков, обещаний, объявлений с обеих сторон о скором отъезде, шуток, извинений, выговоров, прощений, умильных взглядов, дружеских рукожатий и значительных двусмысленностей, которыми наполнилось все утро, вплоть до позднего обеда, и в которых жених с двумя неве-

стами отличались друг перед другом и которых Анна Михайловна была только безмолвною, радующеюся втайне свидетельницею, гусар наконец в пылу своей страсти пал к ногам ее, между тем как она уставляла стклянки в сундуке, и в пламенных выражениях объяснил, что жизнь его и смерть зависит от ее решения, что он любит и просит у нее руки...

— Чьей же, батюшко? — спросила Анна Михайловна, между тем как любовник оглянулся на двух приближавшихся невест, забыв, которая из них середняя, которая большая, и заикался...

— Полинъкиной, что ли?

— Пелагеи Петровны! — воскликнул с восторгом Бубновъй, — Пелагеи Петровны, сударыня! решите судьбу мою... или я противен вам, скажите, не томите моей души; в таком случае пистолет избавит меня от этой проклятой жизни, где судьба не судила мне счастья, — кричал в восторге забывшийся Бубновъй, не слыхав, что нареченная им невеста раз пять ему шептала сквозь зубы «да» и «нет», принаравливаясь к его восторгу.

— Бог благослови вас, дети мои, — сказала,

обливаясь слезами, Анна Михайловна и подавая руку восхищенной дочери-любимицы восхищенному любовнику.

— Маменька, вы меня оставляете! Как я буду жить без вас...

— В моих объятиях, — кричал Бубновый.

— Кузьминишна! — (она уж выглядывала из двери) — запродала я свою Полиньку — попроси-ка скорей священника пожаловать к нам перед вечерней — благословить нареченных жениха с невестой, детей моих любезных. — Ну, детушки! Полноте целоваться! Сядемте за стол! покушаем во славу божию.

Я не стану рассказывать моим читателям о той веселости, которая господствовала за обедом у счастливой матери, о тех нежностях, которыми осыпали друг друга жених и невеста, о тех клятвах, которыми они взаимно себя уверяли в вечном продолжении своей страсти, ни о радости Анны Михайловны, ни о плане ее ехать к ним в Петербург с Грушенькою (которая, однако ж, пригрозила ей потихоньку даже наказанием божьим за то, что она постаралась выдать младшую дочь прежде старшей), ни об упреках ее Бубновому

в ветренности, за то, что он не спросил даже о приданом своей невесты, ни о лестных оправданиях Бубнового, который надеялся, что такая чадолюбивая мать не обидит своей дочери, наконец ни об искренних поздравлениях радостного Дементия, ни о машинальных поклонах равнодушного Ивана.

Скажу только, что после обеда был сделан стовор, написана и засвидетельствована рядная[28], и Анна Михайловна решила тотчас ехать в деревню, ибо играть свадьбу-де на ярмарке двум приедем с разных сторон неприлично, а в самом деле потому, что у нее не осталось бы с чем выехать домой, если бы должно было сделать такие непредвиденные расходы.

Нельзя было не послушаться ее основательных доказательств. И во весь следующий день продолжались приготовления к отъезду, укладыванья, закупки и расчеты, так что один только раз новые родные успели для прогулки сходить на ярмарку, где жених, по совету сметливого Дементия, из последних денег, взятых за проданную тогда же графскую лошадь, купил невесте бриллиантовые

серьги, а невеста отблагодарила его золотой табакеркой из суммы, взятой ее матерью у Кузьминишны на заемное письмо; сии подарки еще более утвердили обе стороны в предполагаемых богатствах.

Теперь посмотрим, чем это кончится.

Все было закуплено, увязано, уложено, исправлено, снаряжено, и Анна Михайловна, принеся теплые молитвы богу за благополучное окончание одного дела, поблагодарив Кузьминишну в усердных выражениях за угощение и попросив ее не оставлять впредь, отправилась из Нижнего Новгорода вместе со всеми своими чадами и домочадцами. Бубновому очень не хотелось ехать вместе со всеми, но нанять почтовых было не на что, и он поневоле должен был присесть к ним, любезничать дорогою и рассказывать всякую всячину о своих похождениях на балах, в театрах, на постоях, караулах, что доставляло величайшее удовольствие обществу, особенно его суженой, которая помирала со смеху, между тем как сестра ее ощипывала губы с досады.

Наконец через пять дней голодные лошади дотянули тяжелую колымагу, как нагруженную барку, до Спасска. Уж близко деревни были они; нетерпение их беспрестанно увеличивалось: жениху вскоре должен был истечь срок его отпуска, и ему надо было непременно приготовить ремонту на десять тысяч рублей к приезду графа; невеста не могла дождаться минуты, когда она сделается полковницею и в полном блеске явится в уездном собрании между своими сверстницами; Анна Михайловна начертывала уже про себя планы, как, проведя обещаниями богатого зятя, воспользоваться его почетною роднею и знакомством, чтоб удержать за собою незаконные владения, собрать розданные деньги, как после того при поправленных таким образом обстоятельствах выдать замуж вторую дочь свою и восстановить прежнюю важность своего дома. Все были в восторге; все они беспрестанно поглядывают из окошка, считают минуты, считают шаги, пожимают друг у друга руки, целуются в губы, кричат на кучера и фрейтора, а те в свою очередь погоняют усталых лошадей: «Ой, нуте, голубушки, вытяги-

вайте, вывозите, родные, вывозите!» — И вот осталось только десять верст, шесть, четыре, вот началась усадьба, вот виден и дом на горе, вот высыпают дворовые навстречу... колымага подъезжает, подъезжает... ворота настежь, въехали, остановились пред крыльцом. Бубновы́й выскочил первый, стал принимать под ручку матушку, невесту, сестриц. — Уж всходят все вместе на лестницу... вдруг отворяются двери передней; человек выводит к ним в сени навстречу какую-то женщину на костылях...

— Прасковья Филатьевна, ты ли? — закричала, увидев ее с первой ступеньки, Анна Михайловна.

— Как Прасковья Филатьевна? — подхватил Бубновы́й, который за минуту обернулся было назад к Дементию.

— Феденька, друг мой, здравствуй!

— Матушка!

— Какой Феденька?

— Какая матушка?

— Сыночек мой любезный!

— Чей сыночек?

— Мой.

— Кто?

— Он.

— Как?

— Так.

— Твой?

— Мой.

— Вы?

— Ее!

— Ах! — Ах! — Ах!

Ожидали ль читатели такой развязки? Подождите, милостивые государи! Это еще не последняя.

— Не хочу! не хочу! — закричала вдруг с дочерью громче всех Анна Михайловна.

— Чего не хотите? — спросила Прасковья Филатьевна, — здравствуйте!

— Черт тебя возьми! не хочу! не хочу! не хочу! Разбой! зарезали! Обманули! Господи! помогите!.. — и все остановились среди лестницы и закричали в один голос, так что ничего разобрать было невозможно: и град стучал, и дождь шумел, и ветер выл, и гром гремел, и молния сверкала; народ начал сбегаться, а всех смешнее была Прасковья Филатьевна. Ничего не понимая, она обращалась то к од-

ному лицу, то к другому, то к третьему, и все отворачивались от нее с сердцем, ворча про себя, а Бубновский, как ошеломленный, кричал только отрывистые, непонятные слова.

Через несколько минут уже, увидев толпу на дворе, Анна Михайловна опомнилась и пошла вперед, вопиющая, неистовая, во внутренние комнаты, а за ней и вся свита в великом замешательстве. — Дементий посмотрел за ними вслед и покачал головою, приговаривая: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день», а Иван, почуявший грозу неминуемую, вынимая вещи из колымаги, только что вздыхал и на вопрос своих однодомцев «что такое?» отвечал с досадою: «А вот увидите, сейчас разделят вам гостинцы».

Но что делалось в покоях Анны Михайловны? Все действующие лица вошли в гостиную, безмолвные от усталости, смущенные неожиданным открытием. Первая прервала молчание Прасковья Филатьевна:

— Да расскажите мне, Христа ради, Анна Михайловна, что все это значит? Хоть убейте меня, я ничего не понимаю.

— А я вот что понимаю, — разразилась пе-

реведшая дух Анна Михайловна, и глаза ее запылали, и губы задрожали, и зубы заскряпели, — а я вот что понимаю, что сын твой лжец...

— Как?! Я лжец?! — загремел в свою очередь Бубновый, опомнясь и хватаясь за саблю.

— Батюшки! не буду!

— Феденька, полно! — зарыдала Прасковья Филатьевна, удерживая его за руку и толкая его в дверь.

— Да, — продолжала без него Анна Михайловна, которая, струсив с первого окрика, теперь ободрилась, надеясь на ее покровительство, — сын твой нагнал мне, что он дворянин, что он полковник, генерал, что ему родня все губернаторы, все министры, что у него есть деревни во всех губерниях, что у него есть доходу десять тысяч, двадцать, тридцать тысяч рублей, и я сговорила за него любезную свою Полиньку; а у него нет ни кола ни двора, а ему родня всякая сволочь...

— Какая сволочь, — вступилась теперь и Прасковья Филатьевна, которую такое восклицание задрало за живое. — Да чем моя

родня хуже вашей? вы сами мне сказали, что вам сродни губернаторский камердин, не велика персона; а у нас родня хоть не богатая, а ливреи с галунами никогда не носила.

— Ах ты, нищая! как смеешь ты это говорить мне в моем доме? Ты целый свой век таскалась по чужим домам.

— Я хоть таскалась, да не грабила середь бела дня, не заедала сиротского хлеба.

И поднялся новый крик и шум, посыпались брани и ругательства, зазвучали проклятия, и опять застучал град, зашумел дождь, завыл ветер, загремел гром и засверкала молния. Все дворовые люди переполошились, бегали как шальные по коридору и смотрели друг на друга с недоумением.

— Уж я отдам дочь свою за такого проходца, — хрипела Анна Михайловна, — лучше жива не хочу быть.

— Так я у мертвой вырву ее из рук, — заревел Бубнов, вбегая опять в дверь и приступая к нареченной своей теще, — ты сговорила ее за меня, я бросил все казенные дела, просил позволения у губернатора, писал в полк и поехал за тобою с кислым молоком.

— Но что ты заришься на них, Феденька, — вступилась опять его мать, — ведь они все разорились, она сама сказала мне, что их из деревни скоро по шее выгонят, за чужое имя, а деньги в долгах все пропали.

— Так вы обманывали меня?! — воскликнул Бубновый, — нет! вы не разделаетесь со мной. В суд я потащу вас всех. Я доправлю на вас все свои убытки. Есть кому за меня вступить. Я донесу на вас; я не кто другой; у меня есть рядная. Десять тысяч неустойки. Не то я всех вас разорю, распозорю, ославлю...

Так неистовствовал проигравшийся гусар, который, обманувшись в своей надежде, нигде не видал себе спасения от военного суда. — И Анна Михайловна обробела.

— Полинька, — сказала она вполголоса своей дочери, — видно тебе так на роду написано, ступай под венец.

— Нет, маменька, ни за что на свете, — отвечала страстная любовница. — Чтоб исправничья дочь попрекнула меня...

— Грушенька! или ты... ведь ты хотела же прежде.

— Федор Петрович не удостоил меня своим выбором, — отвечала дочь, отвернувшись с насмешкою, — и последовало со всех сторон глубокое молчание.

Не правда ли, что все действующие лица находились в затруднительном положении — не меньше самого автора. Как прикажете развязать здесь узел? Уж не разрубить ли?

— Аннушка! ты у меня безответная! — воскликнула наконец Анна Михайловна, обращаясь к меньшей своей дочери. — Не попомни моей лихости — у тебя же есть десять тысяч, что графиня оставила по завещанию, — выручи меня из беды.

— Послушайте, сударыня, — сказал ей Бубновский, — я полюбил вас с первого взгляда, и только по обстоятельствам нашелся принужденным обратиться к вашей сестрице. Я виноват, я вел себя дурно. Но я поправлюсь. Вам будет лучше со мною, чем здесь. Признаюсь перед вами откровенно: спасите меня — дайте мне вашу руку.

Все обратились к ней, Анна Михайловна чуть не плакала, сестры утирали себе глаза и

смотрели на нее с ласкою; Бубновыи бросился на колени, Прасковья Филатьевна устремляла умоляющий взор, и — и Анна Петровна после внутренней приметной борьбы подала ему свою руку, и Бубновыи в восторге принял ее — и вот которая *невеста нашла себе жениха на ярмарке*, — и вот чем окончилась первая часть моей повести.

Да как? для чего? зачем? почему? отчего? — спрашивают читатели. Но чего же вам больше, милостивые государи? Анна Михайловна с дочерьми и Бубновыи ведь обманули друг друга? Ну — и получили достойное себе наказание в неисполненных желаниях и несбывшихся надеждах. Разве этого не довольно?

А каким образом умная, благовоспитанная девушка могла вдруг согласиться на брак с таким негодяем? Может быть, из великодушия, может быть, понадеясь на обещание его исправиться в знак благодарности, может быть, вышед из терпения в отеческом доме, может быть... Однако, в самом деле, — я согласен, что это странно. Так не благоугодно ли вам обратиться к следующей части?

Часть II

ПИСЬМО I

Я замужем, мой друг! Ты удивляешься, получая такое нечаянное известие. Долго таилась я пред тобою — теперь открою тебе всю душу свою. Узнай и пожалей обо мне! Ах! где то блаженное время, когда, воспитываясь в доме твоей матушки, мы наслаждались всякою минутой; когда все нам было в утешение: и день и вечер, и усталость и отдых, и истина и вымысел; когда, неопытные, мы встречали везде добродетель, удивлялись, от чего же зло происходит на свете и, готовые на всякое пожертвование, не видали в том никакого достоинства; когда, довольные, мы не понимали нужды и не заботились о будущем или насаляли мир идеалами любви и дружбы и с тайным трепетом ожидали себе там новых радостей; когда душа веяла в нас тихо каким-то утренним свежим ветерком, и мы ощущали жизнь так легко, так приятно! Счастливые, мы почти сомневались в несча-

стии — но смерть моей благодетельницы была для нас первым ужасным опытом. О! да будет он для тебя и последним! Пусть на одну упадут все удары судьбы! — Мы расстались, куда я переселилась...

Я не хотела описывать тебе ничего, потому что должно б было жаловаться на своих родных. Мне тягостно начать и теперь; но бог видит мою душу, ты знаешь меня: я пишу не в осуждение; нет, я люблю их и плачу об них из глубины моего сердца. Я пишу потому только, что мне стало слишком больно, и силы мои изнемогают; доверенность облегчит меня, я как будто уделю тебе часть моего страдания, а ты, моя добрая Олина, не откажешься от такого участия.

Знаешь ли, я долго не верила самой себе и сомневалась, наяву ли происходило то, чему я сделалась свидетельницею: так все мне было странно, дико, чуждо. Наконец уж, осмотревшись, как в темноте, я убедилась, к прискорбию, что меня не обманывают чувства, разобрала свои впечатления и ознакомилась с новым миром своим.

Какое невежество, грубость, унижение мне

там представились — ты не можешь себе вообразить этого. Самых простых понятий там не доставало, которые нам казались почти врожденными. Что такое ум, что такое сердце, никто не знал, и никто не заботился, как будто бы их не было в человеческой природе. Даже слова эти редко выговаривались, и то в самом странном значении; все происходило по какому-то инстинкту, внутреннему влечению или по привычке, по преданию. Никакой победы над собою, даже борьбы. Совершенная покорность телу, которое управляет ими как будто по своему произволу; нечего уже говорить тут о благородных желаниях, возвышенных чувствах, участии в судьбе человечества. Пища, питье, одежда, чужие дела, чужие пороки — единственный предмет их внимания и разговора; шумные споры от утра до вечера за всякую безделицу, при всяком недоразумении — любимое, необходимое упражнение, без коего скука их одолевает. Прибавь к этому непрерывные нападения на людей, которых они считают какими-то рабочими животными и которые в самом деле становятся такими, так что уж не понимают другого лучшего

обхождения. И вот вся их жизнь, лучше, выше коей они ничего вообразить не могут. Словом: это те же дикие — под гражданской наружностью.

Каково ж мне было видеть в этом положении людей самых близких к моему сердцу, видеть — и не быть в состоянии принести им какую-нибудь пользу? Я терзалась и сожалела, зачем сама получила образование; мне легче б было жить одною жизнью с ними, я б не тосковала тогда по неизвестным наслаждениям, не страдала б ни за себя, ни за них и была б им не в тягость, а в утешение.

Теперь ты можешь представить себе, какую роль я стала играть между ними. Я показалась им столько ж странною, как и они мне. Увидев после двух-трех опытов, что мы не можем понимать друг друга, как люди разных языков, я замолчала, и с той минуты сделалась предметом их непрерывных насмешек, грубостей, оскорблений. Напрасно я старалась угождать им, предупреждать их желания, служить им своими знаниями; они не верили моему чистосердечию, толковали в дурную сторону всякое мое слово, всякое движе-

ние. Не принимая участия в их сплетнях, отличаясь своими поступками, своим образом мыслей, я уж возбуждала их нерасположение к себе; но когда в некоторых случаях мне оказано было предпочтение от посторонних людей, для них значительных, когда они слышали лестные отзывы обо мне, то нерасположение это мало-помалу обратилось в ненависть, даже не скрытую, не тайную. Они старались досаждать мне при всяком удобном случае, выдумывали на меня разные нелепости, мешали мне во всех моих начинаниях, и мое терпение лишь только ожесточало их более. Мне нельзя уж было ничем заниматься, читать, прогуливаться; я должна была с утра до вечера слушать их беспрерывные, пустые споры, пересуды... И ни одного человека не встречала я в этой пустыне, который сказал бы мне приветливое утешительное слово. Боже мой! Что происходит со мною, когда воспоминанием переносилась я в наш... потерянный рай!

Так прожила я два года, печальная, измученная. Что я вынесла! Сколько слез я пролила!.. но не все.

Мы поехали в Нижний. С нашим семейством познакомился там один гусарский офицер. Не стану описывать тебе все обстоятельства этого замужества. Довольно, — он попросил моей руки; матушка и сестры по разным причинам желали, чтоб я вышла за него замуж, и я, закрыв глаза, без памяти, подала ему руку. Пусть хуже, но иначе.

Нет, это неправда. Нет, я должна тебе признаться, ты должна видеть всю мою душу. Я обманываю тебя, себя. — Я полюбила его с первого взгляда. Ты думаешь: здесь нет ничего удивительного. — Нет? Но в кого я влюбилась? Друг мой! Что со мною сделалось? Это самый грубый, необразованный... порочный человек. И все это я видела своими глазами, слышала, знала, и между тем сердце мое влеклось к нему неодолимою силой. Напрасно я старалась размышлять, что сим действием решала судьбу свою, обрекала себя на новые, жесточайшие, терзания; напрасно исчисляла себе очевидные пороки человека, которому во власть хотела отдать всю жизнь свою, с которым хотела соединиться навеки священными, неразрывными узами. Нет, ни-

что не помогало, и я вышла за него замуж. — Как он живет со мною? — Но довольно. У меня недостает сил. Я много написала тебе, много раскрыла ран, которые заструились кровью. До следующего раза. Плачь обо мне, мой друг, плачь!

ПИСЬМО II

Вот тебе окончание моей печальной повести. Я была в каком-то забытии, оставляя отеческий дом. Мой муж ласкал меня, но это продолжалось недолго. Лишь только приехали мы в город, где полк его стоял постоем, как обхождение его начало переменяться. Он принимал мало-помалу свой прежний образ жизни, обращался к прежним своим привычкам, в кругу военных товарищей, которым он предан больше всего на свете. Курить табак, играть в карты, пить, шататься по улицам, петь песни, буяннить — вот в чем обыкновенно, кроме ученья, проходит их время от утра до вечера. — Месяца чрез три мы говорили уж мало между собою; он отвечал большею частью отрывисто, часто уходил со двора, и я стала видать его редко. Впрочем, он сохранял

ко мне какое-то почтение, хотя сухое, принужденное. Однажды в благоприятную минуту я осмелилась сделать ему несколько упреков, напомнить первые обещания. Это его рассердило. Он вспыхнул, и я, увидев с прискорбием, что он не может терпеть противоречий, что мое замечание произвело противное действие, ибо он чаще начал отлучаться из дома, решилась прибегнуть к другим средствам: я старалась удерживать его дома, изобретая для него всевозможные тихие удовольствия, но успех был кратковременен, и мои книги, мои рассказы, мои вопросы вскоре ему наскучили: он спешил к своим любезным товарищам — искать шумного веселья. Ко мне день ото дня он становился холоднее. Лишась надежды переменить его вдруг, я желала по крайней мере своими ласками, угождениями сохранить сколько-нибудь его прежнюю привязанность — но он принимал их с равнодушием, а потом с досадою, как будто бы они были ему не нужны, отяготительны. Чтоб не увеличивать его отвращения, я принуждена была наконец ограничиться одним послушанием, готовностью исполнять его приказа-

ния. Такое самоотвержение победит его, думала я, нынешние удовольствия опротивеют ему, он увидит их тщету и ужасные следствия, раскается, обратится к семейственной жизни и в объятиях верной жены поймет новое, непонятное ему теперь счастье. Мои наблюдения утверждали меня в этой сладостной надежде: бывали по крайней мере минуты, редкие, краткие, когда он показывал мне какую-то нежность, сознавался, хотя слегка, в своих проступках, обещал, хотя шуткою, исправиться. — От природы он имеет доброе сердце и здравый смысл, но, по своей стремительности, поступает всегда прежде, нежели они успеют подать голос, а самолюбие заставляет его после поддерживать, продолжать, во вред себе и другим, начатое в минуту страсти. В городе называют его взбалмышным, и это простое слово изображает верно его характер, или, лучше, характер всех его собратий, которые все удивительно как привыкли жить без размышления.

Я все любила его и ждала с покорностию благодетельного переворота — но напрасно. Поведение его беспрестанно становилось ху-

же и хуже. Сам старей дядька его, который был предан ему сердечно и имел прежде на него некоторое действие, отчаялся, не понимал, что с ним сделалось. Он, казалось, утонул, так что чад не выходил на минуту из его головы, и все предметы, в природе и уме, представлялись ему навыворот.

Редкий день он возвращался домой трезвый, а карточная игра сделалась его страстию. Часто он проигрывал все до последнего мундира — и обходиться со мною он стал, разумеется, грубее. Сначала он пил и играл в чужих домах, как бы совестясь еще показываться предо мною во всем безобразии, и я по крайней мере могла в тишине предаваться размышлениям или находить себе отраду в книгах. Но после он начал приглашать к себе своих знакомых, самых развратных офицеров из всего полка, и я должна была принимать, угощать их, оказывать всевозможное внимание. С утра до вечера буйствовали они иногда у нас за пуншем, табаком и картами, рассказывали свои непростительные шалости, хвастались друг перед другом своими пороками, насмехались над самыми священными пред-

метами, и горе было мне, если когда-либо, хоть случайно, я показывала малейший вид неодобрения, услышав от них какую-нибудь грубую двусмысленность или что-нибудь подобное. Он нарочно тогда в досаду мне начинал рассказывать среди общего хохота свои соблазнительные похождения и потом заставлял их в свою очередь последовать его примеру, а я, краснея и трепеща от стыда, должна была выслушивать все с удовольствием. Но что было тогда, как они, разгоряченные вином, начинали между собою ссориться за нарушение каких-то своих правил о чести и благородстве! Чем они упрекали друг друга и чем оправдывались! Какое ожесточение, бесчеловечие — остервенение! Удивительные существа! Вот еще дикие — ужаснее тех, которых я знала прежде. Что я говорю! Тех можно назвать ангелами в сравнении с этими. Там недоставало только образования, там действовали мелочные страсти, а здесь льется кровь, предается жизнь, оскорбляется природа, произносится хула. Как могли дойти они до такого положения! Не образумливаться ни на минуту, потерять почти все человеческие

желания, остаться при одной животной необходимости в каких-то сотрясениях. Так прожила два года. Тяжелое, тяжелое время. Как я переменялась, похудела. Что сделалось с моими глазами: темные, мутные. Щеки впали, губы посинели и скрылся мой игривый румянец. Ты не узнала бы своей прекрасной Анюты. Я сама себя пугалась, увидев нечаянно в зеркало. Я плакала и грустила внутренно, а снаружи должна была казаться довольною, веселою; это принуждение увеличивало еще более мои страдания. Наконец, лишась всякой надежды, я упала духом совершенно, не могла больше выносить своих несчастий; и жизнь сделалась для меня противным бременем, всякая минута была для меня новым несчастием. — Сколько раз, в глубокую полночь, в то время, как мой муж неистовствовал с своими гостями в ближней комнате, повергалась я, утопая в слезах, пред образом божией матери и молилась о смерти — моей освободительнице, моей избавительнице, желанной, благодатной. — Но бог не внял моим теплым молитвам, я страдала, мучилась, умирала, но жила. За что же ты наказываешь ме-

ня с такою строгостию, за что на других ниспосылаешь ты богатые милости? Не заслужила ли я их больше, чем они, эти гордые, нечувствительные счастливицы? Голова у меня начинала кружиться, рассудок помрачался, на меня находило иногда бешенство. Друг мой! знаешь ли, — чувствуя свое бессилие против таких ударов судьбы, видя их неизбежность, я поднимала на себя руку... но невидимая сила меня останавливала.

В таком положении я родила дочь. Сладостное, новое чувство! оно привязало меня опять к жизни; я понадеялась даже, что милая малютка привлечет ко мне отца и возбудит нежные чувствования в его ожесточенном сердце, как возбудило их в моем, изнывшем, помертвелом. Но эта надежда продолжалась только минуту. — Бесчеловечный! он начал также злобствовать на невинного младенца, как и на злополучную мать его. Он видел в ней только прибавление к домашним расходам...

Да. Нам угрожает нищета — моего приданого достало только, вместо казенной проигранной суммы, на покупку лошадей. Вот что

заставило его жениться на мне так скоро. Потом мы жили наследством, полученным от его матери, — но чем будем жить вперед, об этом я боюсь и думать. Жалованья он никогда не приносит домой. Часто, просыпаясь, я не знаю еще, чем будем сыты день, и только к вечерням съедаю какой-нибудь кусок, проводив все утро в изобретении средств достать его.

Вот об чем я должна теперь заботиться, я, которая летала с тобою по небесам, искала наслаждений... эстетических. Ожидала ли я, что буду думать когда-нибудь только об утолении своего голода и по целым месяцам не возноситься в тот прекрасный мир, где была с тобою неотлучною гостьей? Но что я говорю! Разве это самое большое мое несчастье? Разве не давно уже я перестала жить так? — Недостатки раздражают еще более моего мужа; одно слово мое приводит его иногда в ярость, и я дрожу за себя, за милую дочь свою. Ах, если б ты видела этого ангела! Какие глаза, ротик, а эта улыбка, этот взгляд! Но что будет с нею? Я мучусь за нее гораздо больше, живее, чем прежде. Как разнообразны несчастья! Слезы

бегут из глаз моих. Прощай, мой друг! Ты знаешь теперь все. Вот как живет твоя Анюта! Если судьба ее переменится к лучшему, она будет писать к тебе; если нет — она не станет уж более смущать твоего довольного сердца жалкою повестью о своих несчастиях. Прощай!

ПИСЬМО III

Ей, верно, лучше, думаешь ты, с нечаянною радостью распечатывая письмо мое после такого продолжительного молчания. Читай.

Мужа моего исключили из службы за дурное поведение. В последний раз проиграв большую сумму на заемное письмо, он перессорился с своими товарищами, наговорил дерзостей начальникам, перебил солдат и пьянствовал несколько дней сряду, не приходя ни на минуту в полную память. В неистовстве возвращался он домой, кричал, проклинал все на свете, грозился сжечь дом, город, ломал все, что ему ни попадалось в руки, бил меня, и я, израненная и окровавленная, должна была еще спасти свою малютку. Ужасно было смотреть на него в этом положении.

Некоторые старшие офицеры по моей просьбе покушались его уговаривать. Напрасно. Он не мог ничего понимать. Полковник, отчаясь в его исправлении, велел наконец ему подать просьбу в отставку, чтоб избавить весь полк от бесчестия. Он опомнился, или, лучше, — физические его силы ослабли, так что он не мог уж более предаваться бурным своим порывам. Целую неделю молча ходил он по комнате, и только изредка глаза его сверкали и по телу пробегали судороги. Кажется, он видел иногда свое положение, чувствовал, куда низвергся, легкомысленный; но это чувство производило в нем ярость, а не раскаяние, и он, желая забыться, начинал пить снова и глубже утопал в пропасти, у нас ничего не осталось. Выигравшие приятели забрали все наши пожитки. Я принуждена была отпустить от себя няньку и кухарку и работала все сама. Наконец он сказал, что поедет в Москву и будет искать себе там места в гражданской службе. Я было обрадовалась: может быть, пред незнакомыми людьми он посовестится, переменится, исправится. Офицеры, услышав об этом намерении, сделали складчину и со-

брали ему на дорогу несколько сот рублей. Что ж? В тот же вечер он возвратился домой пьяный и привел с собою отчаянных гостей, начал играть в карты и проиграл половину полученных денег. На другой день тайно я просила полковника о запрещении играть с ним и приказании выслать его из города. Ему ничего не осталось делать, и, кажется, мы скоро поедem. Что-то будет в Москве? Я не ожидаю ничего лучшего. И что можно ожидать при этом последнем доказательстве? Да, мое воображение, прежде столь живое и игривое, не может составить себе никакого вида в будущем, никакая мечта не расцветает в темной глубине души моей, и я давно уже не имею надежды.

Зато другое, новое чувство досталось мне в удел. Знаешь ли? С тех пор почти, как я рассказала тебе свои несчастья, долго скрытые от всех людей, с тех самых пор они, кажется, отлегли от моего сердца, и новые горести я стала принимать спокойнее, как будто б они следовали по обыкновенному порядку вещей, были необходимой, следственно, беспрекословной принадлежностью, частию жизни;

время от времени во мне прекращались болезненные душевные ощущения, и я слушала проклятия моего мужа, смотрела на его буйство, принимала раны с таким же равнодушием, как вязала чулок или качала колыбель. Однако это была не бесчувственность. Сделаться бесчувственной и между тем сохранять воспоминание о прежнем, живом состоянии души — было бы прискорбно. Нет, я чувствую свое положение, но без боли. Так лицо наше, привыкнув к холоду, ощущает его, но не с таким противным чувством, как прочие части тела. Мои несчастья не ослабли, но я окрепла. Я уж не тоскую, не ропщу. Что же имело на меня такое благотворное действие? Чему я одолжена такою спасительной переменою? О! это ты, святое терпение! Я узнаю твою целебную силу... Не оставляй же меня никогда, небесная добродетель, укрепляй мою слабую душу, будь моим ангелом хранителем до тех пор, как я перейду весь тернистый путь, мне назначенный, и успокоюсь в могиле — последнем ночлеге земных странников.

Вот, мой друг, что случилось в судьбе тво-

ей Анюты. Вот почему, вопреки своему слову, я взялась за перо, чтоб писать к тебе. Надеюсь, что я имела право на это. — Поблагодари же вместе со мною милосердного бога, который посылает несчастным столько различных средств для их назидания и утешения.

ПИСЬМО IV

О, мой друг! Терпение — святое, благодатное чувство. Оно притупляет жало несчастья, услаждает горечь горести, ослабляет удары судьбы, облегчает бремя, которое падает на грудь нашу. Я дышу все легче, свободнее, по мере того как более и более вникаю в глубину этого великого слова, постигаю обширный смысл его, растворяю им бытие свое, принимаю на эту броню все внешние впечатления...

Мы выехали из города, и я оставила с радостью этот вертеп, где несчастный муж мой потерял все человеческое достоинство. Да! в последнее время он унизился даже против прежней жизни, заслужил презрение даже от своих товарищей, дошел до крайности. К несчастью, когда по запрещении полковника

никто не шел к нему пить и играть, в город собралось множество военных из других полков, которые приготавливались к смотру. Игру можно было найти везде. Кучи золота и серебра, пуки ассигнаций прельстили несчастного. «Подожди, — сказал он мне однажды, воротившись домой, — я поднимусь над своими врагами, я заставлю их поплатиться со мною; у меня опять будут деньги, я разбогатею...» В его глазах, улыбке, голосе было что-то странное, ужасное. Казалось, он забыл все на свете, бредил о деньгах и был уверен, что счастье ему теперь наверно улыбнется и он поправит свои обстоятельства, займет прежнее место в обществе — но эта надежда обманула, и судьба его решилась. — Проиграв все полученные деньги, он помешался на этой точке: во что б ни стало ему надо было играть. Он начал ходить по своим знакомым и выпрашивать денег под разными предложениями, лгать, плутовать, красть. Его никто не пускал к себе в дом. Отовсюду его гоняли. Совершенно бесчувственный, он принимал равнодушно ругательства и побои — здесь кланялся и падал в ноги, там бранился и дрался,

с одним криком: «Дайте денег!» Офицеры, чтоб избавиться как-нибудь от него, наняли потихоньку подводу, за которую заплатили вперед, и ночью, пьяного, взяв от солдат, с которыми он пил, положили в кибитку.

Он опомнился на первой станции и спросил меня, куда мы едем; потом потребовал денег на вино. Так проехал он всю дорогу и не приходил ни на минуту в чувство, чтоб я могла сказать ему что-нибудь. Да я никогда б и не посмела решиться на это. Один ужасный взгляд его лишал меня силы, и испуганное слово замирало на устах моих. Если б ты могла представить себе его наружность! О, какую ужасную печать кладут на лицо наше душевные бури! Всклокоченные волосы, зверские взгляды, порывистые движения, шаткая походка! Верст за сто от Москвы он познакомился с какими-то двумя мещанами подозрительного вида. Долго они перешептывались между собою, стоваривались о чем-то, наконец ударили по рукам и начали пить вино. На другой день он пересел в их повозку, и с тех пор они были неразлучны, кричали, пели без умолку и останавливались у всякого каба-

ка. — Это, верно, последние руководители его на пути в бездну. Он готов на всякое преступление. Приехав в Москву, мы остановились на постоялом дворе, а чрез несколько часов перешли на квартиру, отысканную новыми знакомцами, особую избу на краю города. Муж мой днем не бывал почти дома, возвращался поздно к полночи, часто приносил с собою разные вещи и после уносил их опять: иногда давал мне денег, которые показывались у него в большом количестве, но большею частию я содержала себя с малюткою трудами рук своих, шила на своих соседок, которые, узнав о моем положении, часто приходили навещать меня с советами и сожалениями. Они убеждали меня оставить его. Ни за что на свете! Пусть будет, что угодно богу. — Моя судьба связана с его судьбою священными узами. Тайна сия велика есть [29], сказано в Евангелии. Я не понимаю ее умом, но понимаю сердцем, верую.

Наконец нас выгнали с квартиры, обобрав последние вещи, ибо мы задолжали за два месяца, и полицейские часто беспокоили хозяйина своими справками и расспросами. Мой

муж взял меня за руку с ребенком на руках и повел поздним вечером по разным закоулкам к одному обгоревшему дому. Там, по изломанной лестнице спустившись в темный подвал, закричал он: «Отведите ей место...» Я не успела еще осмотреться... меня схватили под руки, и с громкими восклицаниями, поздравляя с новосельем, почти понесли в темный угол. Где я? В вертепе нищих, воров, площадных мошенников...

И вот какие происшествия, друг мой, не производят уж во мне почти никакого болезненного ощущения. Удивительное явление! Я терпела и прежде, но почему тогда мне было так тягостно, а теперь стало так легко? Потому ли в самом деле, что, описав свои несчастья, я ослабила их силу, потому ли, что привыкла к ним, или потому, что прежде все свое внимание обращала на них и, предубежденная в их могуществе, заранее преклоняла пред ними покорную главу свою, а теперь всю жизнь сосредоточила в своей душе и на внешние обстоятельства смотрю... как на листы, которые в книге перевертываются передо мною ветром. Когда гроза несется на меня,

я спрашиваю себя, какой вред может она причинить моей душе, и всегда получаю в ответ: никакого — и прямо иду к ней навстречу, и с совершенным равнодушием открываю грудь свою пред громовыми стрелами, которые в самом деле никогда не долетают до меня. Иногда я не делаю даже себе никаких вопросов, не ободряю себя рассуждениями и стою в ненастье, под дождем, под градом, пред молнией, как в весенний день на лугу, испещренном цветами. — Терпеть — что может быть проще этого правила, а какое благотворное действие производит оно на несчастливцев, которых судьба обрекла себе на жертву! Оно может заменить для них счастье.

Я читаю беспрестанно Евангелие — священный завет нашего Спасителя. Я не останавливаюсь там, разумеется, на тех глубоких, таинственных местах, которые постигнуть предоставлено... лишь достойным стать одесную его[30]. Мое утешение, мое наслаждение — назидательные притчи его, в коих под самым простым покровом заключаются высокие законы нравственности, его умилительные разговоры с грешниками, детьми, мыта-

рями и фарисеями, разговоры, в коих ясно отражается нежная, милостивая душа его, его кроткие, снисходительные наставления, дышущие любовью к человеческому роду. О, какая любовь, беспредельная, бесконечная, пламенная! Нет, ее нельзя выразить словом, нельзя понять мыслию. Даже сердце не вместит об ней чувствования. Разве избранники, в минуту святых восторгов и откровений, подобно Рафаелеву ангелу, возмогут проникнуть всю глубину этой благодати, обнять всю пучину этого милосердия! Нет, не могут, не могут, никогда, никто!

Как говорит он с несчастными, как знает он все тончайшие, неприметнейшие оттенки их горестей, как предупреждает все их жалобы, разрешает все недоумения, какую надежду поселяет в скорбных сердцах! «Приидите ко мне вси труждающиеся и обремененнии! — Сеющи слезами, радостию пожнут. — Блажени есте, егда поносят вам и ижденут и рекут всяк зол глагол на вы лжуще мене ради. Радуйтесь и веселитесь, яко мзда ваша многа на небесех. Претерпевый до конца, той спасется»[31]. — Верую и благодарю

тебя, господи! Бессмертие! Вечная жизнь! О, чего нельзя перенести за такую будущность! — Несчастий, несчастий подай мне, господи! больше! больше! Да возрадуюсь и возвеселюсь и приму мзду многую на небесах!

Смерть — вот теперь мое единственное желание, единственный предмет моей молитвы. Там, там успокоится совершенно мое волнующееся сердце и обретет то счастье, которого здесь провидение ему не сулило... но свеча догорела. Мои товарищи просыпаются. Я хотела было ныне описать мое жилище... До следующего раза. Скоро: я пишу к тебе всегда с особенным удовольствием, потому что никогда не чувствую так живо и так ясно.

ПИСЬМО V

Темный подвал, в который днем не проникает почти солнечного луча; всегда вечер, освещаемый кое-где горящею лучиною, ночниками, огарками. Сырость, вода течет ручьями с каменных, черных стен; сверху каплет; пол кирпичный зарос грязью; воздух влажный; какой-то пар носится беспрестанно в середине; дышать тяжело с непривыкшею грудью. Лица красные, опухлые, покрытые синими пятнами и рубцами, с отеками глазами или бледные, изрытые, опустошенные развратом. Как отвратительны женщины с их растрепанными волосами, голыми локтями, осиплым мужским голосом, босиком! Одежда странная, все вместе: и зимнее и летнее, и все оборвано, изношено, не впору, заплатка на заплате. Беспорядок. Здесь изломанный стул, там корыто, ведро, опрокинутые лавки. По перегородкам, за которыми живут семейства, развешано переполосканное смрадное белье. Нечистота, болезнь, драка, ругательство. А дети, невинные создания, кои в этом нежном святом возрасте видят пред собою все пре-

ступления, и заражаются!..

Вот мое жилище, зрелище и общество! Все они, расходясь рано поутру на промыслы, возвращаются только поздно вечером, пьяные и буйные. Что делают они со мною, каким поспрамлениям я подвергаюсь почти всякий день — ты не можешь вообразить, понять; и я не хочу своим рассказом производить в тебе ужасного впечатления, или, лучше, боюсь, стыжусь писать, думать о том, что бывает со мною.

Теперь близко полночи. В середине, около разведенного огня, за двумя штофами водки, с чашками, плошками и ковшами сидят несколько человек — кто на полу, кто на бочке, кто на полене — и рассказывают дневные свои похождения, хвалятся своими подвигами. Один, мальчишка, два раза пойманный, наконец в третий раз вынул платок неприметно из кармана у квартального; другой, старик, выманил у четверых денег на женыны похороны; третья, молодая девка, убежала от двух сторожей; толпа слушает и громкими смехами изъявляет свое одобрение и удовольствие. Подле меня за деревянную стенкой

мать бранит сына за то, что не принес назначенной полтины, а сестра, осьми лет, показывает на него, что он был три раза в харчевне, пролакомил там деньги, а после отнимал у нее. — С другой стороны — пьяная старуха бранится во сне с будочниками, а ребяташки волочут ее за ноги по земле, обливают водою и засыпают табаком, роняют и хохочут. В стороне старшины, к числу которых принадлежит и муж мой, назначают роли на завтрашний день для действующих лиц. Некоторые уже переобуваются, переодеваются, другие растрavляют раны. Остальные без чувств лежат по полу, кто где упал, и спят мертвым сном, а я — сижу в своем углу и размышляю о добре и зле, о добродетели и пороке, о тех бесчисленных степенях, по которым может опускаться человек — ничем от ангела не умаленный! И я, неопытная, называла дикими прежних своих знакомых! Там сохранились еще какие-нибудь человеческие понятия, какие-нибудь человеческие слова, а здесь что?! — Ум, язык, божественные искры, каким ужасным, тлетворным орудием делаются в их голове?! Что сейчас я услышала из уст

моего мужа, решившего их споры! Все начали пить... Я отвратила взоры от ужасного зрелища, положила перо.

Вдруг воображение представило мне картину из прежней жизни, и я забылась. Удивительно! — Помнишь, мы сидели поздно вечером, на балконе, в деревне. Погода была тихая, воздух теплый; с цветочной гряды доносились до нас благовонные испарения. В саду изредка запевал ночной соловей. В воде отражалось сияние месяца, который, поднявшись из-за рощи, плавно катился по синему небу, усыпанному звездами. Помнишь, с каким восторгом наш русский учитель толковал нам тогда, что все сии бесчисленные звезды такие же великие, огромные солнца, как наше, пред которыми земля наша только песчинка, что самые, самые ближние из них в несколько миллионов миллионов раз дальше его отстоят от нас, что каждая имеет свои планеты и спутники и составляет особую, целую, великую и сложную систему, подобную нашей, в которой на неизмеримых расстояниях небесные тела вращаются около своего центра, что Млечный Путь, эта белая полоса над нашими

головами, происходит от света других звезд, кои по своей безмерной дали для нас невидимы или от сотворения не дослали еще лучей своих, хотя сии лучи движутся всего скорее и от нашего солнца в восемь минут пробегают несколько миллионов верст. — С каким благоговением мы его слушали, то возносясь умиленной душою к Создателю сих бесчисленных миров, то исчезая смущенным умом в ужасных пространствах, то возвышаясь духом при высокой мысли, что человек, этот неприметный атом, скорее звука, скорее света может своею мыслию обтекать всю вселенную и забываться в созерцании бесконечного, чувствовать бога.

Неизъяснимое, неописанное удовольствие доставило мне это воспоминание. И как живо представился мне тот священный вечер — ты не можешь вообразить этого. Я совершенно забылась. На нашем черном закопченном своде мне виделись сверкающие звезды, в диких воплях моих товарищей я слышала звуки соловья... я таяла... Как я была счастлива в эту минуту! Даже тогда, тогда не чувствовала я так сильно, так сладостно, как теперь. Да, да!

Только узник с цепью на руке в темнице, ощущает свободу[32]. Только больной на смертном одре умеет ценить здоровье. Только несчастливец знает счастье.

ПИСЬМО VI

Еще новое в моих понятиях, в моей жизни. Я остановилась на последней мысли моего письма: несчастливец живет всех ощущает счастье. Этого мало. По долгом сладостном размышлении я скажу теперь, что только несчастливец может быть истинно счастливым, что счастье — в несчастьи. Ты, прелестная женщина, в цвете лет, обожаемая мужем, с пылким воображением, с умом любопытным, богатая, говоришь: «А любовь, а супружеское счастье, а милые дети, а добрые дела, а познания?» Но твой муж может умереть сию минуту, твое дитя может сейчас переломить себе ногу и остаться на всю жизнь уродом, твой ум может помутиться одною каплею молока; воображение стынет, любопытство тупеет... но что я говорю! в своем подвале я разучилась щадить чувствительность... да идут мимо тебя слова сии! Прости меня!

Не безрассудно ли называть то своим, чего можем лишиться всякую минуту? — И что тогда будет с нами? — Столько ж или еще больше несчастья, сколько теперь счастья. Какое же это счастье? Меч обоюдоострый. — С этим счастьем бываем похожи на расточителей, которые, вдруг промотав свое имение, тем больше после чувствуют тягость нищеты. Итак, что значит быть счастливо? Не зависеть от счастья, жить в своей душе, быть выше счастья и несчастья, и в сих двух необходимых формах жизни искать только средства к достижению человеческой цели. Точно так: быть богату не значит иметь много, а не нуждаться в богатстве; и алчный миллионщик, которому недостает иногда тысячи для полного счета, беднее довольного нищего, когда он, усталый, ввечеру куском черствого хлеба утоляет свой голод.

Да. Ей хорошо, думаешь ты (разумеется, под другим благовидным словом), голодной, в подземелье, с ворами, пренебрегать счастьем; но верно она рассуждала б иначе, если б была на моем месте.

В том-то и дело. Я совершенно согласна с

тобою. Счастье (употребляю это слово в вашем смысле) ослепляет глаза, развлекает внимание, отучает от беседы с собою, не дает времени углубляться в душу, и она, изнеженная, слабеет. Находя непрерывные удовольствия во внешних предметах, мы приходим неприметно в зависимость от них, дорожим ими, наполняем их самыми горячими нашими чувствами, разделяем, так сказать, себя между ними, живем одною жизнью с ними, и счастливцу, с душою раздробленной, всего труднее понять, как можно обходиться без сих чарующих призраков и в самом себе находить сладостнейшую действительность. Оковы счастья всего тяжелее. Потому-то и сказал Христос, что «легче канату пройти сквозь иглиные уши, чем богатому внити в царство небесное»[33].

Как нелепо наше воспитание! Как мало prepares оно нас к жизни, стараясь в самое плодотворное, решительное время наделить нас одними сведениями посторонними, часто бесплодными, мертвыми! Я рассуждала о непрочности земного счастья, даже самого высокого, почти идеального, без всяких пре-

пятствий местных, семейных, гражданских, столько обыкновенных; но у многих ли бывает такое, и долго ли гостит оно у этих избранных? Одну минуту, одну минуту. Когда оно возрастает, то бывает еще не полно, и мы только желаем, еще не довольны; а после, когда оно начнет понижаться, ибо в одном положении ничто не остается на свете, мы уж сожалеем или боимся. Между сими двумя линиями нашей жизни есть, кажется, одна только точка счастья, математическая точка, миг неприметный, соединяющий прошедшее с будущим, которого мы никакими чувствами уловить не можем. Счастье ускользает между надеждами и воспоминаниями — пустыми, но сильнейшими пока нашими чувствами, и всякое прошедшее созревает только в будущем. Что же значит это счастье, за которым гоняется столько веков весь род человеческий и которого поймать не может, как тень? — Как тень! Бессмысленные! Оборотитесь назад, и самый предмет в ваших руках. — Руссо плачет, Байрон в отчаянии, Наполеон тревожится, Сократ оправдывается, философы ссорятся, никто не доволен. Я не го-

ворю уж с тобой о толпе, которая, кроме естественных, действительных так называемых несчастий, составляет в своем мнении другие, условные, искусственные несчастия. Что же заключить из такого всеобщего ропота, всеобщего недовольствия? Вот что: все ищут не того, чего им надо; ищут не там, где найти им можно нужное. О! Каким же могущественным рычагом можно поднять род человеческий из глубокой, привычной колеи, по которой он влечется почти невольно, и поставить на другую дорогу, с которой бы вещи ему представлялись в настоящем их виде? Неужели еще долго люди будут шататься по своим зыбким становищам и не найдут твердой точки, с которой бы крест голгофский воссиял им во всей его славе? — Одной мысли, одного, может быть, слова, оборота, недостает только, чтоб совершился благодетельный переворот в их мнениях о счастье и жизни — о смерти также, потому что нет ничего нелепее ваших мнений об ней. Вы боитесь смерти. Но веруете ль вы или нет? Если вы веруете, то для вас нет ее, и в ту минуту, как разрушается ваше тело, душа взлетает к престолу Всевышнего

и начинается свое бессмертие, и, следовательно, смерть, собственно, есть жизнь истинная, полная, совершенная. — Ваши ближние должны смотреть на нее, как на разлуку кратковременную, которая только увеличит радость свидания, верного и очень близкого для каждого из них. — Если вы не веруете, то смерть для вас есть миг неприметный или даже вожделенный, когда снимает бремя, для вас несносное. И стоило ли б труда жить на этом свете для одной здешней жизни, для нескольких светлых минут, окруженных тучами горестей?

Ты вразумило меня, благодетельное несчастье! Тебе одолжена я своим счастьем. О, какое высокое наслаждение доставляет мне теперь мысль, что ничто не может уж никак поколебать моего спокойствия, и весь мир не может ни прибавить, ни убавить одной черты от моего бытия! Как мне весело с одним оружием — терпением — вызывать судьбу на бой с собою, одерживать победы над несчастьями и познавать силу души своей! Как весело мне в моем низком подземелье размышлять о самых высоких предметах челове-

ского знания! Как приятно мне дожидаться смерти! Часто, стирая белье или идучи за водою, в раздранном рубище, я смотрю с гордостью на великих мира сего, которые на своих колесницах, пышные и блестящие, носятся пред моими глазами на поклоны золотому тельцу своему; смотрю и думаю о своем преимуществе над этими язычниками, о своем нравственном державном могуществе. — Жизнь моя, жизнь моей души, мой внутренний мир, мое небо, светлеет, яснее, хотя тьма вокруг меня становится гуще и гуще. Шумной чередою проходят несчастья мимо меня и удаляются, пристыженные. Даже тень их не достигает до святилища души моей; огонь, который затеплился на алтаре ее, горит ярче и светозарнее в окружающем мраке. — Счастлив, кто здесь на земле удостоится несчастья!

Вчера я схоронила свою малютку. Как я благодарю бога за то, что он взял ее к себе в этом возрасте и рассеял последнее мрачное облако, которым закрывалась иногда моя будущность!

Я не писала тебе о моем чтении страданий

Христовых. Вот еще источник неиссякаемый, где люди должны черпать силу терпения! С неописанным смущением и стыдом вспоминаю я теперь о своих прежних жалобах. Что значат наши легкие и мнимые лишения, неудачи, в сравнении с страданиями Христа? Нет. Таких не осталось уже на земле. Он один мог их иметь; он один мог их переносить, божественный. Я говорю не об терновом венце его, не об тяжелом бремени, не о поругании и биении, не об крестном распятии, не об оцете [34], смешанном с желчью, которым напоен он был, жаждущий, пред кончиною. Нет! не тогда он страдал наиболее, не тогда душа его была прискорбна даже до смерти. Нет — что чувствовал Человеколюбец, видя, в каком грубом, ожесточенном положении находились люди, которых пришел спасти он; убеждаясь беспрестанно, как они видяще не видят и слышаще не слышат, не разумеют; что чувствовал он, представляя себе мыслию все тяжелые испытания, печальные опыты, кровавые труды, коим они должны подвергнуться, те несчетные годы, кои должны протечь на земле, пока наконец они узнают... что ничего

не знают, сделаются младенцами[35] и приготовятся принять ту простую истину, которую, казалось, так легко можно бы постигнуть и в одно мгновение. Что чувствовал он, когда эту истину называли ложью, когда сами любимые ученики в важнейшую минуту его жизни не могли с ним побдети ни часа единого, когда Петр, камень веры, отрекался от него трижды перед смертью, когда Филипп просил его показать ему отца и Фома ощупью уверялся в его воскресении! Вот страдания! — Друг мой, проси себе несчастья, читай Евангелие, Христа ради, читай Евангелие. Там терпение, добро, наслаждение, счастье, блаженство, рай, бог.

ПИСЬМО VII

Давно я не писала к тебе и ныне едва собралась с силами, едва держу перо. И что ты прочтешь в этом письме?! Ты верно не ожидаешь ничего подобного. О, какое бременное создание человек!

Во мне открылась злая чахотка — и где мои пылкие желания страданий, где мои высокие мысли о боге, где мое счастье, которое ощущала я так живо, так сладко, передавая тебе свои размышления? Все исчезло, и я лежу пригвожденная к одру болезни, слабая, уstraшенная, опять несчастная.

Еще более — я мучусь при мысли, что душа моя не может теперь вознестись на ту высоту, с которой прежде ей было так приятно бороться с судьбою. Как тяжело сознаваться пред собою в этом бессилии!

Ну если мои прежние чувства были только минутными порывами души напряженной, которая теперь, изнемогши, с ослабелыми крыльями или, лучше, согласно с своей природою, упала на землю, и никогда уж с нее не поднимется! Ну если выздоровев я останусь

навсегда в этом состоянии и опять с толпою буду бледнеть и стонать при всякой неудаче, при всякой потере! О господи! не дай хоть дожить мне до этого унижения!

Зачем на минуту мне было восхищаться на третье небо, знакомиться с его наслаждениями — чтоб после живее чувствовать свое ничтожество, огорчаться больше и больше своими воспоминаниями.

Такими печальными мыслями наполняются часы моей бессонницы, и я ропщу, и жалуясь, и раскаиваюсь, и мучусь...

А какие ужасные телесные страдания! Во мне, кажется, вдруг несколько болезней: вся внутренность пылает: язык засох, уста запеклись, в голове какой-то туман, тяжелый, густой... — то вдруг холод по всему телу, и никакой помощи... О боже мой!

Чрез несколько дней.

Мои товарищи принимают участие в моих страданиях и часто стоят около моей постели и молча смотрят на меня со слезами на глазах; женщины приносят мне пить, есть, одевают своими лохмотьями; мужчины спраши-

вают, чего мне хочется, стараются достать мне лекарств... Итак, не погасло и в них человеческое чувство!

В этом уверилась я на днях еще более при смерти одного старика, веселого и доброго, любимого обществом. Все были очень огорчены, ходили хоронить его на кладбище, одевшись как можно лучше, плакали, а ввечеру оставались дома, не шумели и легли спать раньше обыкновенного. Они все еще люди, и раскаяние может дать им множество сладких минут, неизвестных добродетельным, минут, коим ангели на небеси возрадуются.

Даже мой муж оказывает мне какую-то нежность, и это приносит мне большое удовольствие. Знаешь ли — я люблю его до сих пор, и вот как объяснила я себе это явление недавно, ночью, когда болезни мне дали некоторое облегчение и я могла думать свободнее. Всякий человек рождается в двух половинах: мужской и женской; обстоятельства или, я не знаю, что-то разбрасывают их как-то, почему-то, для чего-то в разные стороны, отдаленные или близкие. Если обе сии половины, одна для другой предназначенные, род-

ные, сойдутся как-нибудь между собою в одинаких состояниях, на одной степени образования умственного, нравственного, сердечного, то их счастье, в вашем смысле, а может быть, и в моем — я сама уж не знаю (так перемешалось все в голове моей) — есть полное, совершенное, какое только может быть на земле. Но горе, если в разных обстоятельствах они совершат первую половину своего жизненного пути, получают различный образ мыслей и чувствований! [36] — Это случилось с нами. — Однако врожденная симпатия сохраняет свою силу; таинственными узами она связывает нас, может быть, против нашей воли; так, он, при всей своей развратности, никогда меня не отгонял от себя и даже не произносил ни одного слова в этом смысле; так, я, повинувшись могущественному голосу, вышла за него замуж и теперь больше всего желаю его исправления. Тайный голос твердит мне, что оно будет, и все преступления, все злодеяния спадут когда-нибудь чужою чешуею с души его, и он, чистый, соединится со мною... там! — Но не бред ли это?

Не могу писать больше. Еще отложу на

несколько времени, до какого-нибудь временного облегчения. Силы мои слабеют. Я таю, как воск на огне. Скоро, скоро не станет твоей Анюты; нищая братья опустит ее тело в могилу, и ты напрасно будешь искать места, где б поплакать и помолиться о своей верной подруге.

Еще принимаюсь за перо. Это уж, верно, в последний раз. Я хочу исповедаться и приобщиться святых тайн. Эту неделю я приготавлилась. — Мучительное приготовление! — Я рассматривала всю свою жизнь с тех пор, как начала себя понимать. Ах, друг мой, что я увидела! Какою новою скорбью наполнилось мое сердце! А я почитала себя такою достойною, высокою! Помнишь, мы смотрели с тобой в микроскоп на свою кожу, которой близне и нежности все удивлялись столько! Что за гадость мы увидели! Вот наша душа. Я исследовала все свои поступки, разбирала все свои побуждения, искала первой причины надежд и желаний. — Везде чернота, низость, отвратительность — ужас! Когда я думала, что надо жить для жизни, и если желать

смерти, так разве только как жизни в божестве? Самых высоких чувствований, самых чистых намерений — как мутен источник; я желала смерти, сначала от вспыльчивости, уныния; после, терпением, борьбою, удовлетворяла своему самолюбию; просила страданий из корысти, писала к тебе... может быть, желая похвалы, твоей, своей; любила размышлять о людях и себе, сравнивать — это гордость; а там лицемерие, суетность, эгоизм, отчаяние. О, как близки к порокам наши добродетели, как они похожи между собою и как трудно нам самим сказать, хороши мы или дурны. Человек есть ложь [37] — справедливое, глубокое изречение. Бедное, ничтожное творение! Поставь против себя какие-нибудь четыре строки из Евангелия, и все твои пресловутые добродетели померкнут, и ты во прахе должен молиться только о прощении. Чем выше я этих несчастных, на которых смотрела с таким презрением! Те же, точно те же пороки, лишь наружность благовиднее, блистательнее. Дальше ль им до тебя, нежели мне, господи! Не в одну ли минуту каждый из них может вознестись к тебе? Не в одну ли минуту

другой от престола твоего низвергается долу! Чем же может гордиться человек? Что есть у него своего? Что может он принести тебе в жертву чистую, совершенную?.. Господи! Господи! одно только желание быть лучше, одно только желание — и оно не есть ли еще дар твой? — Павел! Павел! Я понимаю твое слово: в немощи наша сила...[38] но входит священник... все бросились к нему под благословение, рыдают. — Посланник божий в жилище погибели. — Как я вдруг обрадовалась! — Сейчас! — Сейчас! — Все кончено! — Он подходит. Что со мною делается? — Где я? — Какой-то елей разливается по всему моему телу... великая очистительная минута приближается... Друг мой, прости! — Отче! в руке твоей предаю дух мой[39].

Графиня N., от которой мой знакомый чрез несколько лет достал для прочтения сии письма, не получала больше никаких известий о страдальце и даже не имела средств узнать, что случилось с нею, ибо она всегда скрывала тщательно свое убежище и ни от кого не хотела принимать никакой помо-

щи. — Все были уверены, что несчастливица или счастливица вскоре скончалась, к своему успокоению.

Между тем мы часто разбирали ее письма, искали постепенностей в истории души ее, находили иногда противоречия, ложные заключения, спорили между собою и решились при удобном случае их обнародовать, надеясь, что они хоть на время чтению произведут в ком-нибудь впечатление полезное, если не подадут повода к размышлению более важному и действительному.

Однажды мне случилось быть у обедни в ... монастыре. В трапезе[40], в углу, близко дверей, стоял мужчина, в одной сорочке, неподпоясанный, босиком, с опущенными глазами, плачущий горько. — После малого входа[41] несколько монахов подошли к нему с клиросов и своими мантиями накрыли его, распростершегося на земле. Таким образом повлекся он между ними на средину к нарочно приготовленному для него месту при пении умиленного гласа: «Объятия отча отверсти ми

потщися... ныне обнищавшее не презри сердце...» — Я узнал, что это незнакомец постригается в монахи, и с величайшим вниманием стал смотреть на совершение священного обряда, которого прежде никогда мне не случилось быть свидетелем. Торжественные молитвы при облачении в ризу радования, препоясании чресл силою истины, при покрытии шлемом надежды спасения...[42] приятии великого ангельского образа, во одежду нетления и чистоты — страшные отречения «невидимо Христу предстоявшу» в ответ на оглашение игумена: «Да не возлюбиши ниже отца, ниже мать, ниже братию, ниже кого от своих, ниже самого себя возлюбиши паче бога» — наполняли сердце мое благоговением. — Я смотрел с глубоким почтением на этого человека, который познал суету мира сего и в душе своей нашел столько сил, чтоб отречься ее и жить об одном боге. Его дрожащий, проникнутый чувством голос, коим произносил он священные обеты, его крупные слезы, которые текли ручьями из глаз его, все лицо его, на коем напечатлено было резкими чертами раскаяние, скорбь, смирение, возбу-

дили мое участие, и по окончании службы, приглашенный к архимандриту, я спросил у него об имени нового воина Христова. Каково же было мое удивление, когда я услышал от него имя Бубнового, мужа той несчастной женщины, с которой мы познакомились по ее письмам. — Он жил уж несколько лет послушником в монастыре, был образцом всех монашеских добродетелей, и ныне, по окончании искуса, удостоился исполнить свое пламенное желание.

Я обрадовался без памяти. Слава богу! Итак, желание добродетельной жены его исполнилось.

Мне очень хотелось поговорить с ним и узнать, по какому счастливому случаю он обратился на путь добродетели. — Архимандрит отсоветовал мне ныне смущать его сердце воспоминаниями о мире, им оставленном. — С нетерпением я ожидал окончания месяца. Наконец я получил позволение, явился к нему. После долгого предварительного разговора, убеждая его в своем участии, я показал ему известные письма. Он обрадовался, слушал меня с глубочайшим вниманием, был

очень тронут, благодарил в самых сердечных выражениях и заплакал, начав в свою очередь рассказывать мне о ангельских добродетелях своей жены. Но когда речь дошла до последних ее минут, он не мог уж выговорить почти ни одного слова от рыданий, и я насилу мог узнать по догадкам, из отрывков, повторяя по нескольку раз свои вопросы, что его жена скончалась, приобщившись святых тайн. Закрывая свои глаза, она взглянула еще на него, упавшего невольно на колени пред нею. Этим взглядом как бы озарилась вся бездна души его — и решилась судьба всей остальной его жизни. Он почувствовал угрызения совести, раскаяния и решился посвятить себя богу.

В величайшем волнении я оставил монаха и, сходя по лестнице, с сладким удовольствием долго думал об его обращении и о той божественной искре, которая никогда не погасает в нашем сердце и рано или поздно может вспылать в самом порочном человеке с одинакою или еще большею силою, как и в самом добродетельном.

ПРИМЕЧАНИЯ

Первоначально представляла собою две отдельные повести: «Невеста на ярмарке» (отрывки впервые напечатаны в «Московском вестнике», 1827, ч. II № VIII, с. 320–330; ч. III, № IX, с. 11–21; 1828, ч. XI, № XIX–XX, с. 222–234; ч. XII, № XXI–XXII, с. 28–40) и «Счастье в несчастье» (впервые в «Телескопе», 1832, ч. VIII, № 7, с. 342–387, с посвящением А. П. Елагинской). Как самостоятельные повести они вошли и в «Повести Михаила Погодина». В отдельном издании «Невеста на ярмарке. Повесть в двух частях» (М., 1837) составили первую и вторую часть одной книги.

Замысел повести «Счастье в несчастье» относится к марту 1829 г., когда А. П. Елагина (1789–1877), мать П. В. и И. В. Киреевских, прочла Погодину письмо к ней В. А. Жуковского, в котором сообщалось о смерти А. А. Воейковой и в котором Жуковский называет смерть «лучшим земным благом» (см. это письмо: Татевский сборник. Спб., 1899, с. 73). Не соглашаясь с этой мыслью Жуковского, Погодин записал в дневнике: «Нет, это еще не высшая сте-

пень. Надо из жизни сделать счастье», и решает написать повесть, чтобы «сделать апофеозу терпения, показать счастье в несчастье» (II, 309). Возможно, что в сюжетной канве повести косвенно отразилась история семейных неурядиц А. А. и А. Ф. Воейковых, известная Погодину по рассказам.

В. Г. Белинский так характеризовал эту повесть: «„Невеста на ярмарке“ есть как будто вторая часть „Черной немочи“, как будто вторая галерея картин в Теньеровом роде картин, непрерывно восходящих чрез все степени низшей общественной жизни и тотчас прерывающихся, когда дело доходит до жизни цивилизованной или возвышенной» (Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. 1, с. 277–278).

Примечания

1

Гарнец — мера сыпучих тел (3,28 литра).

[^^^]

2

Красненькая — десятирублевая ассигнация,
синенькая — пятирублевая.

[^^^]

3

...доказывала текстами — здесь: текстами священного писания.

[^^^]

4

Причт — лица, служащие при одной церкви.

[^^^]

5

Ремонтные лошади — лошади для пополнения убыли.

[^^^]

6

Горка — карточная игра.

[^^^]

...дав волю слов теченью, Не находил конца
нравоученью — цитата из басни И. А. Крыло-
ва «Кот и повар» (1813).

[^^^]

8

А иногда кто без греха? — цитата из басни
И. А. Крылова «Мор зверей» (1809).

[^^^]

...индеек малую толику — цитата из басни
И. И. Дмитриева «Лиса-проповедница» (1805).

[^^^]

10

Живой мост — плавучий мост.

[^^^]

Всегда над смертными играла, Архипа Сидором, Козьму Лукой писала — цитата из «Надписи к портрету» И. И. Дмитриева («Глядите: вот Ефрем, домовый наш маляр!..», 1791).

[^^^]

Прелиминарные — предварительные.

[^^^]

...под орлом — у кабака (с государственным гербом над входом).

[^^^]

Ирина (правильно: Ирида) — вестница богов.

[^^^]

Роспись — перечень приданого.

[^^^]

Месяцесловы — календари с указанием церковного значения дней.

[^^^]

Требники — календари с указанием церковных обрядов.

[^^^]

Мясопусты — дни, когда запрещено есть мясо.

[^^^]

Господские праздники — посвящены событиям из жизни Иисуса Христа.

[^^^]

Ченерентола (ит.) — золушка.

[^^^]

...положила <...> на мере — здесь: решила.

[^^^]

Шемизетка — кофта, блузка.

[^^^]

на манер черт меня побери (фр.).

[^^^]

Доломан — гусарская куртка.

[^^^]

Бланманже — желе из молока с миндалем, сахаром.

[^^^]

Дансер (фр.) — танцор.

[^^^]

Стразы — искусственные драгоценные камни.

[^^^]

Рядная — письменный договор.

[^^^]

Тайна сия велика есть — слова о браке из послания апостола Павла Ефесеянам (V. 32).

[^^^]

...достойным стать одесную его — здесь: праведникам (по христианскому преданию, на страшном суде праведники будут стоять по правую руку от Христа).

[^^^]

Приидите ко мне вси труждающиеся *и далее*
— цитаты из Евангелия от Матфея (XI. 28, V.
11–12, X. 22) и из 125-го псалма (ст. 5).

[^^^]

Только узник с цепью на руке, в темнице,
ощущает свободу — парафраза строк «Сонета
к Шильону» Байрона.

[^^^]

...легче канату пройти сквозь игольные уши,
чем богатому внити в царство небесное —
слова из Евангелия от Матфея (XIX. 24).

[^^^]

Оцет — уксус.

[^^^]

...сделаются младенцами — имеются в виду слова Христа «если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в царство небесное» (Евангелие от Матфея, XVIII. 3).

[^^^]

Всякий человек рождается в двух половинах и далее — пересказан миф, восходящий к диалогу Платона «Пир».

[^^^]

37

Человек есть ложь — слова из СХV псалма (ст. 2).

[^^^]

Павел! Павел! я понимаю твое слово: в немощи наша сила... — Героиня имеет в виду слова апостола Павла: «Господь сказал мне: <...> сила моя совершается в немощи» (II послание к Коринфянам, XII. 9).

[^^^]

Отче! в руке твои предаю дух мой — предсмертные слова Христа (Евангелие от Луки, XXIII. 46).

[^^^]

Трапеза — здесь: часть церковного помещения.

[^^^]

Малый вход — один из моментов церковной службы.

[^^^]

...при облачении в ризу радования, препоясании чресл силою истины, при покрытии шлемом надежды спасения — этими словами при пострижении в монахи называются надеваемые на постригаемого мантия, кожаный пояс и клобук.

[^^^]